

Обычная шутка в школьном чате.
Слово «сектантка». Смех. Мемы.

В ШУТКУ

Тишина взрослых.



И вдруг — пустая парта. Семья исчезла ночью.
Когда «просто прикол» становится первым шагом к изгнанию?

Книга, от которой невозможно отвести взгляд —
и страшно закрыть.

ЛЕОНАРД ФОГЕЛЬ

В шутку
Леонард Фогель

Оглавление

Пролог

Глава 1: Слово

Глава 2: Ярлык

Глава 3: Насмешка

Глава 4: Эксперт

Глава 5: Сеть

Глава 6: Страх

Глава 7: Отчуждение

Глава 8: Диагноз

Глава 9: Давление

Глава 10: Алтарь

Глава 11: Насилие

Глава 12: Исчезновение

Глава 13: Эхо

Пролог

Я всегда считала, что зло приходит с грохотом. Что оно носит высокие сапоги, говорит на чужом языке, по крайней мере, имеет четкий, узнаваемый силуэт, как в фильмах про войну. Мне казалось, что момент, когда мир ломается, невозможно пропустить. Должны быть сирены. Должно темнеть небо.

Но сейчас, сидя на кухне и глядя на остывающий чай, я понимаю, что ошибалась. Зло не нуждается в спецэффектах. Ему не нужны марши и факельные шествия — это всё декорации для учебников истории, чтобы нам было удобно отделять «тогда» от «сейчас». Настоящая катастрофа приходит тихо. Она приходит в домашних тапочках. Она звучит как уведомление в родительском чате. Она прячется в удачной шутке, над которой мы все посмеялись за ужином.

Моей дочери шестнадцать. Она сидит напротив, листает ленту в телефоне, и синеватый отсвет экрана делает её лицо фарфоровым, почти прозрачным. Пять минут назад она рассказала мне историю. Обычную школьную историю про девочку из параллельного класса. Она рассказала её легко, между делом, намазывая масло на хлеб. Она употребила одно слово. Смешное слово. Яркое.

И я промолчала.

В эту секунду, в тишине нашей уютной кухни, где пахнет ванилью и стиральным порошком, я вдруг услышала эхо. Оно пришло не из коридора, а откуда-то из глубины времени. Я услышала лязг механизма, который запускался тысячи раз до нас. В Древнем Риме, в средневековых городах, в Германии тридцатых, в американском Уэйко, в Руанде.

Этот механизм всегда работает одинаково. Он не требует от нас быть убийцами. Он просит только одного: согласиться с названием. Принять ярлык. Улыбнуться шутке.

Я смотрю на дочь и вижу, как она улыбается чему-то в экране. Она не знает, что процесс уже пошел. Она думает, что это просто жизнь. Что есть «мы» — нормальные, понятные, свои. И есть «они» — странные, смешные, чужие.

Я не эксперт, не историк и не судья. Я просто мать, которая вдруг потеряла право на наивность. Я вижу, как вокруг девочки, которую я даже не знаю,

начинает сгущаться воздух. Я вижу, как слова строят клетку, прутья которой крепче стали, потому что они сделаны из общественного мнения.

Эта книга — попытка зафиксировать момент, когда слово перестает быть просто звуком и становится приговором. Я хочу понять, как мы, хорошие, добрые люди, становимся соучастниками исчезновения других людей. И можно ли остановить этот маховик, если он уже запущен, или нам остается только наблюдать, как история повторяет свой кровавый урок, пока мы пьем чай и смеемся над удачным мемом.

Всё начинается в шутку. Но заканчивается всегда одинаково.

Глава 1: Слово

Кухня в девять вечера — это особое пространство. Время, когда дневной гул стихает, уступая место звукам, которые обычно не замечаешь: гудению холодильника, шуму проезжающей машины за окном, тихому постукиванию пальцев по экрану смартфона. Моя дочь, Катя, сидит напротив. Ей шестнадцать. В этом возрасте дети становятся похожими на инопланетян, которые вроде бы выучили человеческий язык, но интонации у них свои, непонятные. Она пьет чай, поджав под себя одну ногу, и её лицо подсвечено холодным голубоватым сиянием экрана.

Мы говорим о пустяках. О новой учительнице по алгебре, которая слишком тихо говорит. О том, что кроссовки, купленные месяц назад, уже «не в тренде». Это безопасный, уютный разговор, своего рода ритуал, подтверждающий, что мир стоит на месте, стены прочны, а мы — нормальная семья.

— А, кстати, — говорит она, не отрываясь от экрана. Голос звучит легко, почти весело. — Майку из параллельного сегодня опять троллили. Ну, ту, странную.

Я делаю глоток чая. Чай горячий, обжигает язык.

— Почему странную? — спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.

— Ну мам, ты же знаешь. Она эта... сектантка.

Слово падает на кухонный стол, как мертвая птица. Тяжелое, неуместное среди запаха ванильного печенья и уютного полумрака. Катя произносит его так просто, словно говорит «блондинка» или «отличница». В её интонации нет ненависти, только легкая брезгливость и насмешка. Так говорят о ком-то, кто надел нелепую шапку.

Я замираю. Внутри меня что-то сжимается — старый, иррациональный страх, который, казалось бы, не должен существовать в нашей комфортной жизни. Я смотрю на дочь. Она улыбается чему-то в телефоне. Она не понимает. Для неё это просто слово. Мем. Ярлык.

— Сектантка? — переспрашиваю я. — Откуда ты это взяла?

— Да все говорят, — она пожимает плечами. — У её родителей какой-то клуб. Йога, медитации, что-то такое. Они там, говорят, странные вещи делают. Не едят мясо, поют что-то. Короче, секта.

«Короче, секта». Как быстро работает этот механизм. Щелчок — и человек больше не человек. Он — категория. Он — объект.

Я отставляю чашку. Мне вдруг становится холодно. Я не эксперт по религиям, я не социолог. Я просто женщина, которая много читала и еще больше наблюдала. И сейчас, глядя на свою дочь, я вижу не подростка, повторяющего чужие слова. Я вижу, как сквозь неё, сквозь её юный, звонкий голос, говорит история. Древняя, страшная история, которая никогда не заканчивается.

В моей памяти всплывает термин, который я узнала несколько лет назад, когда наткнулась на материалы конференции ОБСЕ. «Римская формула». Это звучит как название античной теоремы или архитектурного стиля, но на самом деле это чертёж мясорубки. Профессор Массимо Интровинье, итальянский социолог, описал этот механизм с пугающей точностью. Он не придумал его — он просто стер пыль с того, что человечество практикует веками.

Формула проста, как всё гениальное и смертоносное. Она состоит из трех этапов, которые всегда следуют в одном и том же порядке. Нельзя перепрыгнуть сразу к насилию. Сначала нужно подготовить почву. Первый этап — нетерпимость. Второй — дискриминация. Третий — преследование.

Всё начинается со слова. В Древнем Риме, откуда и пошло название этой формулы, первыми жертвами стали ранние христиане. Их не убивали сразу.

Сначала их нужно было *назвать*. Римская элита, образованные и цивилизованные люди, создали образ врага. Они говорили, что христиане — это не просто другая вера. Нет, это было бы слишком сложно. Они говорили проще: эти люди — «враги рода человеческого». Им приписывали абсурдные, чудовищные вещи: каннибализм, инцест, заговор против Империи.

Зачем? Чтобы создать дистанцию. Чтобы превратить соседа, пекаря, солдата в «чужого».

Я смотрю на Катю. Она не знает про Нерона, про Диоклетиана, про то, как людей скармливали львам под улюлюканье толпы. Она просто пересылает подружке смешную картинку. Но механизм тот же. Абсолютно тот же.

— Кать, — говорю я тихо. — А ты знаешь, что значит это слово?

— Какое? Секта? — она наконец поднимает на меня глаза. В них искреннее недоумение. — Ну, это когда людям мозги промывают. Когда они зомби.

— А ты видела, как Майе «промыли мозги»? Ты с ней разговаривала?

— Ой, мам, не начинай, — она закатывает глаза. — С ней никто не разговаривает. Она же *того*.

«С ней никто не разговаривает». Вот оно. Изоляция. Слово «секта» — это удивительный лингвистический перевертыш. Изначально, в латыни, *secta* означало просто «школа», «учение», «путь». От глагола *sequor* — следовать. Философская школа могла быть сектой. Группа врачей, придерживающихся определенного метода лечения, была сектой. Политическая партия была сектой. Это слово не несло в себе яда. Оно означало лишь группу людей, объединенных общей идеей или лидером.

Но язык — это оружие. И со временем значение изменилось. Сегодня, в нашем демократическом, толерантном обществе, это слово стало клеймом. Стигмой. В Древней Греции стигмой называли метку, которую выжигали или вырезали на теле раба, преступника или предателя. Чтобы все видели: этот человек — не такой, как мы. Он порченный. Он опасный. С ним нельзя иметь дел. Сегодня нам не нужно раскаленное железо. У нас есть слова.

Я пытаюсь представить эту девочку, Майю. Я видела её пару раз у школы. Тихая, с длинной косой, всегда с тяжелым рюкзаком. Обычный ребенок. Её

родители открыли спортивный клуб? Йога? В нашем районе это считается престижным. Здоровый образ жизни, осознанность — все эти модные слова. Но стоило кому-то, одному-единственному человеку, произнести «секта», как реальность исказилась.

Йога превратилась в «странные ритуалы». Вегетарианство — в «фанатизм». Отсутствие интереса к школьным сплетням — в «зомбированность».

Это и есть магия стигматизации. Ярлык работает как кривое зеркало. Он полностью аннулирует личность. Неважно, что Майя, возможно, прекрасно рисует, любит кошек или помогает бабушке. Всё это стирается. Остается только одно: «сектантка». Навешенный ярлык воспринимается сознанием как готовый вывод. Мозг ленив, он не хочет разбираться. Зачем анализировать, зачем узнавать человека, если уже есть понятное определение? «Сектант» — это диагноз, не требующий доказательств. Это приговор, вынесенный без суда.

— А кто первый это сказал? — спрашиваю я. Катя задумывается на секунду.

— Да не знаю. Вроде кто-то из пацанов в чате написал. Скинул фотку, где её отец в какой-то белой одежде на тренировке. И подписал: «Осторожно, секта атакует». Все поржали.

«Все поржали». Смех. Вот с чего начинается настоящий кошмар. Не с угроз, не с ударов. С шутки. Смех легализует жестокость. Если это смешно — значит, это не страшно. Если мы смеемся над ними — значит, мы выше. Смех проводит черту: мы здесь, нормальные, веселые, а они там — смешные, жалкие, опасные.

Я вспоминаю статью Бертила Перссона «Борьба против сект». Он писал о том, как в XI–XVII веках слово «секта» использовалось в более широком и часто нейтральном смысле — как обозначение учения, направления или группы последователей, но именно в XX веке, и особенно сейчас, это понятие стало инструментом социальной хирургии. Отрезать. Удалить. Выбросить.

Мне становится страшно не за Майю. Точнее, не только за неё. Мне страшно за свою дочь. Она сидит передо мной, моя любимая, добрая девочка, которая плакала, когда умер хомяк, которая переводит бабушек через дорогу. И она же сейчас, не моргнув глазом, участвует в уничтожении человека. Она не

делает ничего плохого, с точки зрения школьных правил. Она не бьет, не обзывает в лицо. Она просто поддерживает «общий фон». Она смеется.

— Мам, ты чего загрузилась? — Катя откладывает телефон. — Это же просто приколы. Никто её не трогает. Просто... ну, с ней лучше не связываться. Мало ли.

— Мало ли что? — тихо спрашиваю я.

— Ну... вдруг это заразно? — она хихикает, но в глазах мелькает тень настоящего, первобытного страха.

Страх. Вот топливо для «Римской формулы». Сначала создается образ врага, наделенного демоническими чертами. В Риме говорили, что христиане пьют кровь младенцев. В Средние века — что ведьмы целуют дьявола. В нацистской Германии — что евреи виноваты во всех бедах немецкого народа. Сегодня говорят: «они отберут квартиру», «они зомбируют», «они разрушают психику». Суть обвинений меняется, структура остается прежней. Дегуманизация. Лишение человеческого статуса.

Я смотрю на темное окно. Там, за стеклом, город живет своей жизнью. Тысячи окон, тысячи кухонь. И в скольких из них сейчас произносится это слово? В скольких чатах сейчас летит эта «шутка»? Статистика, которую я видела в исследованиях, безжалостна. В закрытых коллективах — школах, армии, офисах — негативный ярлык закрепляется мгновенно. Достаточно нескольких дней, чтобы человек перешел из статуса «свой» в статус «изгой». Обратного пути практически нет. Оправдаться невозможно, потому что любые попытки оправдания воспринимаются как подтверждение «инаковости». «Смотрите, она агрессивная!» — скажут они, если Майя попытается защититься. «Смотрите, она замкнутая!» — скажут они, если она замолчит и уйдет в себя. Капкан захлопнулся.

— Кать, — я стараюсь говорить спокойно, но голос предательски дрожит. — А ты видела эту фотку? Где отец в белом?

— Ну да.

— И что там страшного?

— Ну... не знаю. Необычно. Не как у всех.

«Не как у всех». Величайшее преступление в подростковом мире. И идеальная мишень для тех, кто управляет общественным мнением. Я думаю о том, что мы живем в эпоху, когда информация распространяется со скоростью света, но средневековые инстинкты никуда не делись. Мы всё так же боимся темноты и тех, кто живет на окраине деревни. Только теперь деревня глобальная, а факелы и вилы цифровые.

Массимо Интровинье предупреждал: «Римская формула» работает, потому что она невидима для большинства. Люди думают, что они просто выражают свое мнение. Что они защищают свои ценности. Они не видят, что являются частью алгоритма. Первый этап — нетерпимость. Он уже пройден. В классе моей дочери, в этой элитной, хорошей школе, уже посеяно зерно. Майя больше не Майя. Она — «сектантка». Второй этап — дискриминация. Он начинается прямо сейчас. «С ней никто не разговаривает». «С ней лучше не связываться». Изоляция. Бойкот. Создание вакуума.

А что будет третьим этапом? Преследование? В истории это всегда заканчивалось кровью. Всегда. Без исключений. Когда общество соглашается с тем, что какая-то группа людей — «второй сорт», «опасный элемент», «раковая опухоль», насилие становится лишь вопросом времени и техники. Но сейчас, на моей кухне, всё тихо. Никакой крови. Только чай и разговоры.

— Ладно, мам, я спать, — Катя встает, потягивается. — Завтра контрольная по химии. Она целует меня в щеку. Теплая, родная, пахнущая шампунем.

— Спокойной ночи, — говорю я.

Она уходит, шлепая босыми ногами по паркету. Я остаюсь одна. Тишина в квартире меняется. Теперь в ней есть напряжение. Я смотрю на экран своего телефона. Он черный, глянцевый, молчаливый. Где-то там, в глубине цифровых сетей, уже живет слово. Оно пульсирует, обрастает лайками, комментариями, смайликами. Оно набирает силу.

Я думаю о родителях Майи. Они, наверное, сейчас тоже пьют чай. Или обсуждают планы на выходные. Они не знают, что приговор уже вынесен. Что их жизнь, их бизнес, их спокойствие уже поставлены на карту. Не судом, не полицией, а десятком подростков, которым стало скучно. И нами. Взрослыми,

которые промолчали. Зло не приходит с громом и молниями. Оно приходит с тихим смешком: «Смотри, какой он странный».

Я встаю, чтобы убрать чашки. Мои руки делают привычные движения — вода, губка, пена. Но мысли далеко. Я пытаюсь поймать тот момент, когда можно было всё остановить. Пять минут назад? Вчера? Или этот механизм, запущенный тысячи лет назад в Риме, невозможно остановить? Может быть, он встроен в нашу природу, как умение дышать? Потребность найти врага, чтобы почувствовать себя «своим».

На столе остался лежать телефон дочери. Экран загорается от нового уведомления. Я не хочу смотреть, но взгляд сам падает на светящийся прямоугольник. Сообщение из школьного чата. Короткое видео. На превью — девочка, идущая по школьному коридору. Снято со спины, исподтишка. И подпись, набранная веселыми, яркими буквами, с кучей смеющихся смайликов: *«Осторожно! Зона заражения!»*

Я смотрю на эти смайлики. Желтые, круглые, скалящие зубы в улыбке. Мне кажется, я слышу, как где-то очень далеко, но неумолимо приближаясь, начинает работать тяжелый, ржавый механизм. Шестеренки сцепились. Маховик сделал первый оборот. Шутка перестала быть шуткой. Охота началась.

Глава 2: Ярлык

Утро следующего дня началось с тумана. Он был плотным, белесым, скрывающим очертания привычных предметов, словно город за ночь кто-то стер ластиком и забыл нарисовать заново. Я везла Катю в школу, и дворники на лобовом стекле ритмично смахивали влагу, открывая на секунду серый асфальт, чтобы тут же снова позволить ему исчезнуть.

Катя молчала, уткнувшись в телефон. Обычное утро подростка. Но для меня мир изменился. Вчерашнее слово, брошенное за ужином, никуда не делось. Оно висело в воздухе, невидимое, но осязаемое, как запах газа.

Когда мы подъехали к школьным воротам, я увидела её. Майя. Та самая девочка. Она выходила из маминой машины — серебристого кроссовера, точно такого же, как у половины родителей в нашем классе. На ней была обычная бежевая куртка, на плече болтался рюкзак с брелоком в виде смешного авокадо. Она поправила шапку, улыбнулась маме и пошла к входу.

Я поймала себя на том, что смотрю на неё иначе. Мой взгляд, против моей воли, искал в ней признаки «инаковости». Не слишком ли длинная юбка? Не слишком ли странный взгляд? Почему она не смотрит в телефон, как остальные? Я одернула себя. Это был морок. Девочка была абсолютно нормальной. Но слово «сектантка», произнесенное вчера, уже работало как фильтр в Инстаграме, накладывая на реальность искажающую маску. Я поняла, что механизм запущен не только в школьном чате, но и в моей собственной голове. И это напугало меня больше всего.

Вернувшись домой, я не стала заниматься работой. Я налила себе кофе, открыла ноутбук и сделала то, что делает любой современный человек, столкнувшийся с непонятным: я открыла поисковик. Мне нужно было понять, с чем мы имеем дело. Откуда взялось это слово? Почему оно звучит как приговор? И почему, черт возьми, занятия йогой и вегетарианство вдруг стали угрозой обществу?

В родительском чате уже висело тридцать новых сообщений. Я открыла переписку. *«Слышали про клуб на Ленина? Говорят, там не просто йога».* *«Мне скинули ссылку. Там жесть. Это тоталитарная секта».* *«Ужас какой. Куда смотрит полиция?»* *«Надо предупредить детей, чтобы ничего у них не брали. Вдруг там наркотики или гипноз».*

Словосочетание «тоталитарная секта» мелькало в переписке с пугающей частотой. Оно выглядело солидно, весомо, почти научно. Оно пахло государственными печатями, уголовным кодексом и, странным образом, колючей проволокой. Я вбила в строку поиска: «Что такое тоталитарная секта».

Интернет вывалил на меня лавину ссылок. Форумы, статьи с кричащими заголовками, видео с тревожной музыкой. Но чем больше я читала, тем сильнее становилось мое недоумение. Я искала юридическое определение. Я искала статью в законе. Я искала четкие критерии: если организация делает А, Б и В —

это секта. Но закона не было. В Гражданском кодексе, в Конституции, в законе «О свободе совести» такого термина не существовало. Вообще. Были религиозные объединения. Были общественные организации. Были коммерческие структуры. «Тоталитарной секты» в правовом поле не существовало. Это был фантом.

Тогда откуда все эти люди в чате, все эти журналисты и «эксперты» знают, что это такое? Нить привела меня к одному имени. Оно всплывало везде. В каждой разгромной статье, в каждом сюжете о «спасении заблудших душ», в каждом судебном процессе против «иных». Александр Дворкин.

Я стала читать о нем. Человек с внешностью профессора, с окладистой бородой и пронзительным взглядом. Его называли «главным сектоведом страны». Звучало почти как должность. Главный врач, главный инженер, главный сектовед. Оказалось, что именно он системно ввел этот термин в общественный оборот. Это случилось в начале 1990-х. До этого момента русский язык не знал словосочетания «тоталитарная секта» как устойчивого термина. Были просто секты — в историческом, религиоведческом смысле. Были культы. Но Дворкин совершил лингвистическую операцию, сшив два понятия в одного монстра.

Я задумалась над словом «тоталитарный». Оно пришло к нам из политологии, оформившейся в XX веке и получившей особую остроту в период Холодной войны. Оно вызывает мгновенные, рефлекторные ассоциации: Гитлер, Сталин, концлагеря, газовые камеры, ночные аресты, подавление воли, абсолютное зло. Присоединив этот эпитет к слову «секта» (которое само по себе уже имело негативный оттенок, но все же оставалось в рамках религиозных споров), Дворкин добился эффекта идеального риторического оружия. «Тоталитарная секта» — это уже не про веру. Это про концлагерь. Если вы называете группу людей «новым религиозным движением», вы приглашаете к дискуссии. Вы можете спорить о догматах, о ритуалах. Но если вы называете их «тоталитарной сектой», дискуссия окончена. С фашизмом не спорят. Фашизм уничтожают.

Я нашла его книгу. Читать её было физически тяжело. Текст был пропитан такой густой, концентрированной уверенностью в наличии врага, что мне стало не по себе. Вот цитата, которая заставила меня замереть: *«Каждая из*

тоталитарных сект стремится к власти над миром и к власти над всеми — на то она секта».

Я перечитала это дважды. Власть над миром? Seriously? Группа людей, которые собираются по выходным петь мантры или изучать Библию, или, как в случае с родителями Майи, заниматься телесными практиками — они стремятся к власти над миром? Это звучало как сценарий дешевого комикса про суперзлодеев. Но это подавалось как экспертное мнение. Как факт. В этой фразе крылась гениальная манипуляция. Она превращала любую, даже самую маленькую и безобидную группу, в глобальную угрозу. Если они стремятся к власти над миром, значит, мы имеем право защищаться любыми средствами. Значит, презумпция невиновности отменяется.

Я продолжила копать. Мне нужно было понять критерии. Как отличить «тоталитарную секту» от обычного кружка по интересам или церковного прихода? И тут меня ждало самое удивительное открытие. Четких критериев не было. Дворкин и его последователи создали настолько размытые формулировки, что под них можно было подвести кого угодно. «Наличие лидера»? Есть в любой школе, в любой фирме, в любой партии. «Внутренняя дисциплина»? Есть в любой спортивной команде. «Убежденность в своей правоте»? Свойственна любой религии и любой политической идеологии.

Известный религиовед Игорь Кантеров, профессор МГУ, писал об этом прямо: *«Расплывчатость наименований “тоталитарная секта” и “деструктивный культ” позволяет причислять к таким объединениям практически любое религиозное новообразование, религиозно-философское учение, культурно-образовательное или оздоровительное учреждение».* Это не научный термин. Это ярлык с высокой степенью прилипчивости. Дворкин сам признавал в интервью, что выступает против введения юридического определения секты. Почему? Его ответ был предельно прагматичен: «Мы проиграем эти суды». Конечно. Потому что в суде нужны факты. Нужны доказательства преступлений. А если преступлений нет, если люди просто верят во что-то другое или живут иначе, то судить их не за что. Отсутствие термина в законе, однако, создает иную ситуацию. «Любой человек, не опасаясь наказания, может организацию, которую он считает сектой, называть сектой», — говорил Дворкин.

Вот оно. Вот ключ к тому, что происходило сейчас в нашем школьном чате. Мама Пети из 10 «Б» не юрист. Она не проводила расследование. Она ничего не знает о деятельности клуба родителей Майи. Но у неё есть разрешение. Ей выдали индульгенцию. Ей сказали: «Ты можешь назвать их сектой, и тебе ничего за это не будет. Более того, ты будешь молодец. Ты будешь бдительной гражданкой, защищающей детей».

Я смотрела на экран, где в соседней вкладке был открыт чат. Истерия нарастала. *«А я слышала, они квартиры переписывают».* *«Да-да, у моей знакомой так тетку обработали, правда, это были другие, но схема-то одна!»* *«Схема одна».*

Это удивительно, как работает человеческий мозг. Ему не нужны детали. Ему нужен паттерн. Ярлык «секта» работает как zip-архив, в который уже упакованы все страхи: отъем квартир, педофилия, самоубийства, терроризм. Неважно, что конкретная группа не имеет к этому никакого отношения. Ярлык распаковывается в сознании обывателя полным набором ужасов.

Я наткнулась на статью исследователя Сергей Иваненко. Он писал о том, что в логике антикультового дискурса приоритетная цель антикультистов — не помощь пострадавшим (которых, по его оценке, нередко просто нет), а возбуждение нетерпимости. Создание образа врага. «Антикультовое движение стремится представить религиозные меньшинства, которые именуются «сектами», общественно опасными, криминальными по своей природе образованиями, против которых государство и общество обязаны вести решительную борьбу».

Я вспомнила историю термина. В Древнем Риме слово *secta* не было ругательным. Но когда христианство стало угрожать старым устоям, римская элита использовала язык как первое оружие. Христиан обвиняли в «ненависти к роду человеческому». Не потому, что они кого-то убивали, а потому, что они не участвовали в общих праздниках, не приносили жертвы императору, были закрыты. Их «инаковость» была перекодирована в «опасность». Сегодня происходит то же самое. Только вместо «врагов рода человеческого» у нас «тоталитарная секта». Вместо римских патрициев — эксперты вроде Дворкина. А вместо глашатаев на форуме — родительские чаты в WhatsApp.

Мне стало душно. Я встала и открыла окно. С улицы доносился шум машин, обычный городской гул. Где-то там, в этом городе, тысячи людей живут своей жизнью, не подозревая, что они уже под прицелом. Я подумала о родителях Майи. Они, наверное, вложили душу в свой клуб. Они платили налоги, получали лицензии, проходили проверки пожарных и санэпидемстанции. Они думали, что живут в правовом государстве, где для обвинения нужны улики. Они не знали, что живут в реальности, где слово весит больше, чем закон.

Я вернулась к компьютеру и нашла еще один интересный момент. Критики Дворкина — ученые, юристы, правозащитники — указывали на парадокс. Организация самого Дворкина, «Центр религиозных исследований во имя священномученика Ириния Лионского», по мнению некоторых критиков, обладала рядом черт, которые они же приписывали той самой «тоталитарной секте», с которой он боролся. Нетерпимость к критике? Есть. Харизматичный лидер, чье слово — закон? Есть. Черно-белая картина мира («мы — добро, они — зло»)? Есть. Использование манипуляций и запугивания? Так это описывали. «Психологический терроризм» — так это называлось в одной из публикаций. «Запугивание населения с целью последующего воздействия» — формулировка, которой это объясняли.

Это был, по сути, бизнес на страхе. Страх продается лучше всего. Если сказать родителям: «Ваш ребенок может увлечься йогой, и это нормально», — никто не обратит внимания. Но если сказать: «За вашим ребенком охотится тоталитарная секта, которая хочет власти над миром и превратит его в зомби», — вы скорее получите бюджеты, эфирное время, влияние и власть. Александр Дворкин создал универсальное пугало. Кирилл Товбин, исследователь, очень точно заметил: «Дворкин создал универсальное пугало, с помощью которого можно устранять практически всех критиков современной властной системы... будь то религиозное или нерелигиозное движение».

Я представила, как это работает на практике. Допустим, у вас есть конкурент. Или просто неприятный сосед. Или группа людей, которая вам не нравится. Вы не можете посадить их в тюрьму — не за что. Но вы можете заказать статью. Или просто пустить слух. «Осторожно, это секта». И всё. Вам не нужно доказывать, что они украли деньги. Вам не нужно доказывать, что они кого-то убили. Слово делает всю работу за вас. Оно запустит иммунную реакцию

общества. Люди сами начнут шарахаться. Клиенты уйдут. Арендодатель расторгнет договор («на всякий случай, чтобы не было проблем»). Директор школы вызовет родителей на беседу.

Я снова посмотрела в чат. Там уже обсуждали, как написать коллективное письмо директору школы. *«Пусть проверят эту семью».* *«А вдруг девочка вербует наших детей?»* *«Я видела, она на перемене угощала кого-то печеньем. Я бы запретила брать».*

Печенье. Обычное печенье превратилось в отравленное яблоко. Я хотела написать им. Хотела крикнуть: «Остановитесь! Вы же взрослые, образованные люди! Вы же не в Средневековье! Вы читаете сплетни и верите человеку, который придумал термин-страшилку!» Я набрала текст: *«Коллеги, давайте не будем паниковать. У нас нет никаких фактов. Йога — это не преступление. А термин “тоталитарная секта” — это вообще не юридическое понятие, это просто ярлык».*

Мой палец завис над кнопкой «Отправить». Я представила, что будет дальше. Тишина. Потом кто-то напишет: *«А вы почему их защищаете? Вы тоже с ними?»* И этот вопрос — «Вы тоже с ними?» — будет звучать как обвинение. В системе координат, которую выстроил Дворкин и которую так охотно приняли эти напуганные мамы, нет места нейтралитету. Ты либо борец с сектами, либо пособник сект. Третьего не дано. Если я отправлю это сообщение, тень падет на меня. И на Катю. «Мама Кати защищает сектантов». «Странная она какая-то». «Может, они тоже туда ходят?»

Страх липкий и холодный коснулся моего затылка. Я поняла, что боюсь. Я, взрослая женщина, которая только что прочитала десятки статей о том, что это всё — манипуляция и ложь, я боюсь написать правду в школьный чат. Потому что я знаю силу ярлыка. Он заразен. Он передается воздушно-капельным путем, через слова, через взгляды, через «лайки». Я стерла сообщение. Я не отправила ничего.

Вместо этого я закрыла ноутбук. Экран погас, отразив мое лицо — уставшее, растерянное. Я поняла главное. Ярлык — это не просто слово. Это команда «фас», отданная общественному подсознанию. И самое страшное, что для этой команды не нужны факты. Достаточно интонации. Достаточно авторитетного

мнения «эксперта», который скажет: «Они хотят власти над миром». И мы поверим. Не потому, что мы глупые. А потому что нам страшно. Дворкин продал нам не правду. Он продал нам простой способ справиться со сложностью мира. Мир сложен, в нем много непонятного. А тут все просто: вот мы, хорошие. А вот они — тоталитарная секта, зло. Уничтожь зло — и станет спокойно.

Вечером, когда Катя вернулась из школы, я внимательно посмотрела на неё.

— Как дела? — спросила я. — Норм, — она бросила рюкзак в угол.

— Слушай, мам, нам классуха сказала, что завтра будет классный час. Придет какой-то дядька рассказывать про безопасность в интернете и про эти... деструктивные культы.

— Кто придет? — у меня перехватило дыхание.

— Не знаю. Какой-то эксперт из центра. Сказали, обязательно быть всем.

Я почувствовала, как пол уходит из-под ног. Система работала быстрее, чем я думала. Утром — слухи в чате. Днем — звонок директору (видимо, кто-то из активных родителей уже постарался). А завтра — «эксперт». Я знала, что он скажет. Я уже прочитала методички. Он не будет называть имен. Он будет говорить общими фразами про «зомбирование», про «отрыв от семьи», про «лидеров, жаждущих власти». Но все дети будут смотреть на Майю. Каждое его слово будет гвоздем, вбиваемым в невидимую стену вокруг этой девочки.

— Ты пойдешь? — спросила я.

— Ну да, это же вместо химии, — усмехнулась Катя. — Хоть поспим.

Она не понимала. Для неё это был просто скучный урок. Она не видела, что завтра в их классе будет проводиться ритуал. Ритуал жертвоприношения, где ножом будет слово «секта», а алтарем — общественное мнение. Я посмотрела на брелок-авокадо на рюкзаке дочери. Такой же, как у Майи. Две девочки. Две жизни. Но на одной из них уже стоит невидимая печать. «Осторожно. Тоталитарно».

Я вспомнила фразу из статьи: *«Настоящая цель — всё общество, которое вынуждено наблюдать за публичной расправой»*. Завтра расправа начнется официально. Под видом лекции о безопасности. Я хотела сказать дочери: «Не

ходи». Но что это изменит? Ярлык уже приклеен. И клей, на котором он держится, замешан на самом сильном человеческом чувстве — на страхе перед Чужим.

На столе лежал мой телефон. Экран снова загорелся. В чате кто-то скинул фотографию листовки: «Осторожно! Секты рядом с вами! Признаки опасности». Листовка была яркая, с красными восклицательными знаками. Я знала этот дизайн. Я видела его на сайте Центра Ириней Лионского. Теперь теория стала практикой. Слово обрело плоть и теперь готовилось пожрать своих первых жертв в нашем тихом, уютном районе.

Глава 3: Насмешка

Страх — чувство энергозатратное. Невозможно бояться долго. Организм устает от выброса адреналина, от постоянного напряжения, от ожидания угрозы. Психика, как умный предохранитель, ищет способ сбросить давление. И она находит самый древний, самый доступный и самый страшный в своей эффективности способ. Смех.

Прошло три дня после того, как в школе побывал «эксперт». Я не видела его, но чувствовала его присутствие, как чувствуешь запах табака в комнате, где кто-то курил час назад. Катя вернулась с той лекции не напуганной, как я опасалась. Она вернулась циничной.

— Мам, это был такой кринж, — сказала она тогда. — Дядька в пиджаке, который, кажется, спал в нем неделю, рассказывал нам, что если мы будем слушать не ту музыку, то станем зомби.

Я выдохнула. Мне показалось, что здоровый скептицизм подростков сработал как иммунитет. Они не поверили в страшилки. Они высмеяли лектора. Но я ошиблась в векторе. Они высмеяли форму подачи, но усвоили суть. Лектор дал им не факты, он дал им словарь. Он легализовал определенные слова. И, что самое важное, он снял табу на обсуждение чужой жизни. Если взрослый дядя с трибуны говорит, что «эти люди» — смешные, нелепые марионетки, значит, смеяться над ними — это не грех. Это норма.

Теперь, забирая дочь из школы, я видела, как изменилась атмосфера. Исчезла настороженная тишина, которая висела вокруг Майи в первые дни. На смену ей пришло оживление. Майя шла по школьному двору, и за её спиной кто-то громко, нарочито театрально чихнул.

— Ой, простите! — крикнул парень из параллельного класса. — У меня аллергия на космическую пыль!

Группа подростков вокруг него взорвалась хохотом. Это был не злобный, агрессивный смех драки. Это был легкий, объединяющий смех. Им было весело. Они чувствовали себя остроумными.

Майя не обернулась. Она просто поправила лямку рюкзака и ускорила шаг. Но я видела, как сжались её плечи. Она поняла: она больше не опасность. Она — клоун. А клоуна не жалко.

Вечером я попросила Катю показать мне школьный чат. Она неохотно протянула телефон.

— Только не начинай лекцию о морали, ладно? Это просто мемы. Я листала ленту и чувствовала, как холодеют пальцы. Это было творчество. Настоящее, искромётное народное творчество. Вот фотография Майи, сидящей в столовой над тарелкой с гречкой. С помощью простейшего фоторедактора ей пририсовали антенну на голове. Подпись: *«Прием сигнала с Альфа Центавра. Загрузка гречки завершена на 40%»*. Лайки, смайлики, комментарии: *«Осторожно, не сбей настройки!»*, *«А где шапочка из фольги?»*.

Вот короткое видео. Отец Майи выходит из машины возле школы. Обычный мужчина в джинсах и свитере. Но видео замедлено, наложен звук из *«Секретных материалов»*, а поверх лица наложен фильтр, делающий глаза огромными и черными, как у инопланетянина. Подпись: *«Гуру прибыл за биоматериалом»*.

Я смотрела на это и понимала, что происходит страшная подмена. Страх перед «сектой», который пытались нагнать взрослые, трансформировался в презрение. А презрение — это броня, которую невозможно пробить сочувствием. Если бы Майю били, кто-то мог бы заступиться. Насилие вызывает отторжение у нормального человека. Но здесь не было насилия. Здесь была «шутка». А тот, кто не понимает шуток — зануда и душный человек.

— Смешно? — спросила я, возвращая телефон.

— Ну, мам, это же правда забавно, — Катя пожала плечами. — Ты посмотри на её лицо. Она же всегда такая серьезная, как будто мир спасает. Вот пацаны и стебутся.

«Стебутся». Я ушла в свою комнату и достала с полки папку с распечатками. Мне нужно было найти подтверждение своим мыслям. Я знала, что это уже было. История человечества — это история повторяющихся сценариев, и сценарий «смешного врага» был одним из самых кровавых.

Я нашла материалы о нацистской Германии. Мы привыкли думать о Третьем рейхе через призму черно-белой хроники марширующих солдат и ужасов концлагерей. Но до того, как заработали печи, заработали типографии. И печатали они не только приказы. Они печатали карикатуры. В 1938 году в Германии вышла детская книжка. Она называлась «Ядовитый гриб» (*Der Giftpilz*). Это была не подпольная брошюра, а красочное издание, которое читали детям на ночь, обсуждали в школах. Я нашла сканы страниц. Яркие, почти диснеевские картинки. Вот грибник в лесу объясняет мальчику, что есть хорошие грибы, а есть ядовитые. И так же среди людей: есть хорошие немцы, а есть евреи. Евреи на картинках были изображены не страшными монстрами с ножами. Нет, они были изображены *смешными*. Толстыми, с кривыми носами, с нелепыми жестами. Они были жадными, глупыми, отвратительными, но при этом карикатурными.

Рядом лежала распечатка о другой книге того же периода — «Пудель-мопс-такса-пинчер». Книга для подростков. Там евреев сравнивали с животными. Не с волками или тиграми (это придало бы врагу благородства или силы), а с паразитами. С гиенами, клопами, саранчой. Автор Эрнст Химер и иллюстратор Филипп Руппрехт знали, что делали. Если вы нарисуете врага сильным, он вызовет страх и уважение. Если вы нарисуете его смешным и жалким, он вызовет брезгливость. Убить человека сложно. Убить клопа — гигиеническая необходимость.

Я смотрела на карикатуру из газеты *Der Stürmer* 1936 года. Еврей с огромным ртом пытается проглотить земной шар. Это было гротескно, абсурдно. Над этим смеялись в пивных. «Смотри, Ганс, как точно подмечено!».

Смех в пивной 1936 года и смех в школьном дворе 2024 года имели одну природу. Это был смех освобождения от морали. Когда вы смеетесь над кем-то, вы ставите себя выше. Вы — субъект, наблюдатель, нормальный человек. Тот, над кем смеются — объект. Вещь. Мем. Дегуманизация не начинается с удара прикладом. Она начинается с карикатуры.

Я перевела взгляд на другую стопку бумаг. Руанда, 1994 год. Там не было интернета и фотошопа. Там было радио. «Свободное радио и телевидение тысячи холмов» (RTLМ). Ведущие этого радио были звездами. Они были веселыми, харизматичными парнями. Они ставили модную музыку, шутили, передавали приветы. И между песнями, с той же легкой, задорной интонацией, они называли тутси «тараканами» (*inyezi*). Не «врагами». Не «захватчиками». Тараканами. Я нашла воспоминания выжившей, Жаклин Мурекатеба. Ей было девять лет. Столько же, сколько моей Кате было совсем недавно. Она говорила: *«Они говорили, что тутси — это тараканы, что тутси — змеи. Я не понимала, как можно за несколько дней превратиться из человека в таракана...»*

Слово «таракан» работало так же, как мем про «космическую связь». Оно лишало жертву человеческого облика. Таракан не имеет имени. У таракана нет семьи, нет любимой игрушки, нет мечтаний. Таракан просто существует, чтобы мешать нам жить. И когда пришло время убивать, люди, наслушавшиеся веселого радио, шли убивать не соседей. Они шли «чистить» страну. Они делали работу дезинсекторов.

Я вернулась мыслями в настоящее. Конечно, сравнивать школьный буллинг с геноцидом кажется преувеличением. Никто не призывает убивать Майю. Но механизм тот же. Абсолютно тот же. Психологи называют это «снижением порога эмпатии». Сатира, ирония, сарказм — это инструменты, которые позволяют отключить сочувствие. Когда в чате пишут «Осторожно, зона заражения!» и ставят смеющиеся смайлики, это работает на подсознание. Майя — заразная. Майя — не такая. Майя — смешная в своей нелепости.

Я вспомнила статью о методах Дворкина. Он ведь тоже редко говорит серьезно. Его стиль — это едкая, злая ирония. Он придумывает обидные прозвища. Он использует термины, которые звучат как диагнозы, но на самом деле являются просто ругательствами, упакованными в наукообразную обертку.

«Психокульти». «Сектанты». Он создает образ врага, который одновременно и опасен (хочет власти над миром), и жалок (зомбированный раб). Это классический прием пропаганды: враг должен быть достаточно страшным, чтобы его ненавидели, и достаточно слабым, чтобы его презирали.

В родительском чате тоже началось движение. Если дети упражнялись в остроумии, то взрослые упражнялись в «здравом смысле», который на поверку оказывался тем же самым зубоскальством. *«Видела сегодня маму этой девочки», — писала одна из родительниц. «Шла вся в черном, глаза в пол. Наверное, карму чистила на ходу».* Смайлик: рука-лицо. *«Да уж, у них там своя атмосфера. Главное, чтобы наших не покусали», — отвечал папа, который на собраниях всегда говорил о важности патриотического воспитания. «А я слышала, они мясо не едят, потому что в мясе души убитых животных. Представляете? Котлету съел — душу погубил!»* Черeda смеющихся до слез смайликов.

Я читала это и понимала: им приятно. Им физически приятно это писать. Это объединяет их. Они чувствуют себя нормальными, адекватными людьми, которые едят котлеты, смотрят телевизор и не верят во всякую чушь. Насмешка над «сектантами» стала социальным клеем для нашего класса. Они не видели в родителях Майи людей, которые построили бизнес, платят налоги, любят свою дочь. Они видели карикатуру из журнала «Крокодил» или, что страшнее, из *Der Stürmer*. Образ «жадного сектанта», который хочет отобрать квартиру, смешался с образом «сумасшедшего эзотерика», который боится котлет. Получился уродливый, смешной гибрид.

Я попыталась представить, что чувствует Майя, когда заходит в класс. Она ведь видит эти взгляды. Она слышит эти смешки. Она знает, что в телефонах, которые направлены на неё, рождаются новые картинки. Она находится в стеклянной банке. Мы все снаружи, мы смотрим, тычем пальцами и смеемся. А она внутри, и воздуха там становится всё меньше.

Самое страшное в насмешке то, что против неё нет защиты. Если тебя обвиняют в преступлении, ты можешь привести алиби. Ты можешь нанять адвоката. Ты можешь доказать фактами, что ты не виноват. Но как доказать, что ты не смешной? Любая попытка Майи защититься, любое её слово будет использовано как новый повод для смеха. Скажет: «Перестаньте» — ответят:

«Ой, у нас тут нервный срыв, аура потемнела». Заплачет — скажут: «Гуру не разрешает эмоции?». Пожалуется учителю — скажут: «Сектантка стучит».

Это ловушка. Идеальная, безвыходная ловушка. Я вспомнила термин «социальная смерть». Это когда человек физически жив, ходит, дышит, но для общества он уже умер. Его не воспринимают как равного. С ним не здороваются за руку. Его обходят стороной, как кучу мусора. Или, как в нашем случае, тыкают в него палкой, чтобы посмотреть, как он смешно дергается.

Вечером Катя сидела на диване и смотрела какое-то видео. Я услышала знакомый голос. Это был популярный блогер, который делал обзоры на «фриков».

— ...и вот эти ребята реально верят, что если дышать маткой, то откроется денежный поток! — вещал парень с экрана, активно жестикулируя. — Нет, вы прикиньте! Дышать! Маткой!

Катя смеялась.

— Мам, иди посмотри, это про таких, как Майины предки! Я подошла. На экране мелькали нарезки из каких-то семинаров, вырванные из контекста фразы, смешные звуковые эффекты. Это был конвейер по производству насмешки. Профессиональный, качественный контент. Миллионы просмотров. Тысячи комментариев. «В дурку их всех». «Биомусор». «Сжечь ведьм, ахаха».

Я смотрела на дочь. Она не была злой. Она не хотела никого сжигать. Она просто потребляла контент. Для неё это было развлечение. Но я знала, что именно так готовится почва. В Руанде тоже сначала были шутки. В Германии тоже сначала были карикатуры. Смех снимает запрет на агрессию. Если человек смешон, он не опасен. А если он не опасен, но при этом «вреден» (как таракан или сорняк), то его устранение не воспринимается как убийство. Это просто уборка.

— Кать, — сказала я тихо. — А тебе не кажется, что это жестоко? Она нажала на паузу. Посмотрела на меня с искренним непониманием.

— Мам, ну ты чего? Это же просто приколы. Никто же их не трогает.

— Пока не трогает, — сказала я.

— Ой, всё, не нагнетай. Ты вечно всё усложняешь. Это просто интернет. Тут все над всеми угорают.

Она снова нажала Play. Комната наполнилась бодрым голосом блогера и закадровым смехом. Я отошла к окну. На улице было темно. В доме напротив горели окна. Там тоже жили люди, тоже сидели в интернете, тоже смеялись. Я вдруг поняла, что мы проиграли этот этап. Этап «Слово» прошел. Этап «Ярлык» закрепился. Теперь мы на этапе «Насмешка». И этот этап самый коварный. Потому что он выглядит безобидным. Ну подумаешь, мем. Ну подумаешь, прозвище. Но именно сейчас, под этот аккомпанемент хихиканья, Майя переставала быть человеком. Она превращалась в символ. В мишень.

Я вспомнила фотографию из архива Холокоста. Группа немецких девушек, красивых, улыбающихся, ест мороженое. А на заднем плане, размыто, ведут колонну людей с нашивками. Девушки не смотрят на них. Им весело. У них хорошая жизнь. Те, кто идет сзади — это не часть их мира. Это фон. Моя дочь сейчас была такой девушкой с мороженым. Она не была надзирателем. Она была просто зрителем, которому показали смешное шоу.

В кармане вибрировал телефон. Очередное сообщение в родительском чате. Я достала его. Мама старосты класса прислала картинку. Это была не фотография Майи. Это была «инструкция по безопасности». На желтом фоне, стилизованном под знаки радиационной опасности, был нарисован человечек в позе лотоса, перечеркнутый жирной красной чертой. И текст: *«Зона, свободная от сект. Берегите детей от ментального вируса!»* Ниже приписка от самой мамы: *«Может, распечатаем и повесим в классе? В шутку, конечно. Но чтобы помнили».*

«В шутку, конечно». Я смотрела на этот желтый знак. Желтый цвет. Цвет опасности. Цвет звезды, которую нашивали на одежду, чтобы выделить, отделить, пометить. История не повторяется буквально. Никто не заставит Майю нашивать звезду на куртку. Зачем? Мы живем в цифровом веке. Звезда уже нашита. Она висит в облаке, в каждом смартфоне, в каждой голове. И она не матерчатая. Она сделана из пикселей и смеха. Но от этого она не становится менее тяжелой.

Я не стала отвечать в чат. Я поняла, что любые слова сейчас будут звучать как нарушение правил игры. Игры, в которую с удовольствием играет весь класс и все родители. Игры под названием «Травля с улыбкой». Я положила телефон на стол экраном вниз. Мне казалось, что от него исходит слабый, едва уловимый запах. Запах серы. Или, может быть, запах типографской краски той самой детской книжки про ядовитый гриб.

Глава 4: Эксперт

Родительское собрание началось не с привычного обсуждения сбора денег на шторы или предстоящего выпускного. В воздухе висело что-то тяжелое, электрическое, напоминающее атмосферу перед грозой, когда небо уже потемнело, но первый гром еще не грянул. На учительском столе, рядом с классным журналом, лежала стопка брошюр. Бумага была дешевой, сероватой, но заголовок, набранный жирным шрифтом, кричал: «Осторожно: духовная безопасность ваших детей».

Я сидела на задней парте, чувствуя себя шпионом во вражеском стане. После того как в школьном чате отгремели шутки и мемы, наступила фаза, которую я бы назвала «поиском фундамента». Смеяться над «сектантами» весело, но страшно. Смех — это реакция на абсурд, но чтобы перейти к действиям — к исключению, к изгнанию, — нужна серьезность. Нужна база. Нужен документ с печатью. Людям свойственно искать оправдание своей жестокости. Никто не хочет думать о себе: «Я травлю девочку, потому что она другая». Это дискомфортно. Гораздо приятнее думать: «Я защищаю общество от опасной заразы». Но чтобы так думать, нужен кто-то авторитетный, кто подтвердит: да, это зараза. Да, вы правы. Да, ваша ненависть — это на самом деле гражданская бдительность.

Классная руководительница, женщина с уставшим лицом и вечным пучком на голове, постучала ручкой по столу.

— Уважаемые родители, — начала она, и голос её дрогнул. — Мы все обеспокоены ситуацией в классе. Вы знаете, о ком я. Мы не можем игнорировать

сигналы. Поэтому администрация школы пригласила специалиста, чтобы он разъяснил нам, с чем мы имеем дело. К сожалению, сам он приехать не смог, но передал нам методические материалы, разработанные ведущими экспертами страны.

Она взяла брошюру так, словно это была священная реликвия или, наоборот, опасный реагент.

— Здесь написано, — она надела очки, — что мы имеем дело с деструктивным культом. И что самое страшное — это тоталитарная секта.

Словосочетание «тоталитарная секта» прозвучало в тишине класса как выстрел. Я видела, как выпрямились спины родителей. Как закивали головы. Вот оно. То, чего они ждали. Не просто «странные йоги», а «тоталитарная секта». Это звучало научно. Это звучало юридически весомо. Никто из присутствующих не знал, что такого термина нет ни в одном законе Российской Федерации. Никто не знал, что это лингвистический фантом. Для них это стало фактом, потому что это было напечатано на бумаге и озвучено учителем.

Я взяла брошюру. Текст был пестрым, с обилием восклицательных знаков и ссылок на некий «Центр религиоведческих исследований». Фамилия, которая мелькала в каждом абзаце, была мне уже знакома по моим домашним поискам. Дворкин. Но теперь я видела не просто фамилию. Я видела, как работает механизм легитимизации насилия через фигуру «Эксперта».

Вернувшись домой, я не могла успокоиться. Брошюра жгла руки. Я разложила на кухонном столе свои распечатки, открыла ноутбук и начала погружаться в кроличью нору, которая оказалась гораздо глубже, чем я могла представить. Мы привыкли доверять слову «эксперт». В нашем сознании это человек, который потратил годы на изучение предмета, защитил диссертацию, написал монографии, признанные научным сообществом. Эксперт-баллистик знает всё о траектории пули. Эксперт-биолог знает всё о строении клетки. Но в той сумеречной зоне, куда попала семья Майи, действовали другие законы.

Я наткнулась на фразу, приписываемую самому Александру Дворкину, которая идеально описывала происходящее: *«Эксперт — это не тот, кто что-то знает, а тот, у кого спрашивают»*. Вдумайтесь в этот цинизм. Знание

неважно. Важен статус. Важен доступ к микрофону. Важно, чтобы именно тебя спросилследователь, журналист или перепуганный директор школы.

Я начала изучать структуру, которая стояла за этими брошюрами. РАЦИРС — Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Звучит солидно, почти как Академия наук. Но чем больше я читала, тем отчетливее проступал контур не научного института, а закрытого ордена. Это была замкнутая экосистема. Они сами писали статьи, сами на них ссылались, сами проводили конференции и сами же выступали на них экспертами. Это был вечный двигатель по производству «фактов» из воздуха.

В статье «Экспертиза как инструмент террора» я нашла детальный разбор того, как это работает. Механизм был прост и страшен. Сначала создается информационный шум. В СМИ вбрасывается термин «секта» по отношению к какой-либо группе. Затем, когда дело доходит до суда или административного давления, следователь или судья нуждается в «специальных знаниях». К кому он обращается? К религиоведам из Академии наук? К социологам из МГУ? Нет. Он обращается к тем, кто громче всех кричит об опасности. К «сектоведам».

И тут происходит подмена. Вместо научного анализа суд получает идеологический манифест. Я читала о том, как в 2009 году Дворкин возглавил Экспертный совет при Министерстве юстиции. Человек без профильного высшего образования (его диплом по средневековой истории, полученный в США, не имеет отношения к современной социологии религии или психологии) стал главным фильтром страны. Именно с этого момента, как отмечают исследователи, начался вал фабрикации экспертиз. Это стало конвейером.

Я нашла историю, которая заставила меня содрогнуться. Это был не абстрактный анализ, а живая человеческая трагедия, случившаяся с женщиной по имени Елена Брессем. Её история была похожа на фильм ужасов, где злодеем выступает не маньяк с бензопилой, а бывший муж в сговоре с «экспертами». Муж похитил ребенка. Обычная, к сожалению, ситуация при разводах. Но чтобы оправдать свои действия и лишить мать прав, он использовал «ядерное оружие» — обвинение в сектантстве. Елена работала в компании Herbalife. Можно по-разному относиться к сетевому маркетингу, но назвать это религиозной сектой — значит растянуть понятие до абсурда. Однако мужу и его адвокату (который, как выяснилось, был связан с Дворкиным) нужна была именно эта карта.

И что они сделали? Они заказали «экспертизу». В суд были представлены два тома материалов. «Научный труд» с синими печатями Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Вывод был однозначен: Herbalife — тоталитарная секта, Елена — адепт, а значит, невменяема и опасна для ребенка. Самое страшное в этой истории было то, что Дворкин выступил в суде лично. Как свидетель. Елена вспоминала: *«Я видела его впервые в жизни, откуда этот незнакомый человек может вообще что-то обо мне знать?»* Но ему и не нужно было её знать. Ему не нужно было проводить психологическое обследование, беседовать с ней, наблюдать за её отношениями с сыном. Ему достаточно было наклеить ярлык. «Сектантка». И суд поверил. Потому что перед судом стоял «профессор», «председатель совета», «эксперт». А перед ним стояла просто плачущая мать, которую уже лишили презумпции нормальности.

Я представила на месте Елены маму Майи. Вот она, красивая, уверенная женщина, владелица йога-клуба. Что стоит любому недоброжелателю — конкуренту, обиженному клиенту или просто городскому сумасшедшему — заказать такую же «экспертизу»? Ничего. Практически ничего, поскольку рынок негосударственных экспертных услуг в этой сфере регулируется слабо. Есть спрос — будет и предложение. Я нашла информацию о фирмах-однодневках, которые штампуют такие заключения. «Центр культурологических исследований», состоящий из одного директора и печати. Они напишут что угодно. Что йога — это сатанизм. Что вегетарианство — это деструктивная практика. Что чтение мантр — это форма психологического воздействия, разрушающего психику.

Почему их не сажают? Этот вопрос мучил меня. Ведь это же ложь. Клевета. Ответ нашелся в юридическом анализе статьи 307 Уголовного кодекса РФ. «Заведомо ложное заключение эксперта». Ключевое слово — «заведомо». Чтобы осудить эксперта, нужно доказать, что он *знал* правду, но специально солгал. А в гуманитарных науках, в сфере идей и верований, всегда можно сказать: «Это мое научное мнение. Я так вижу. Я принадлежу к особой научной школе». «Я не лгал, я добросовестно заблуждался». Или еще циничнее: «Это оценочное суждение».

Система построена так, что «эксперт» практически неуязвим. Он может сломать жизнь человеку, разрушить семью, подвести под уголовную статью, а

потом, если вдруг (что бывает крайне редко) его экспертизу признают несостоятельной, он просто разведет руками. «Ну, наука — дело сложное». Это идеальное преступление. Убийство без отпечатков пальцев. Убийство словом, заверенным печатью.

Я читала про «Томский процесс» 2011 года. Это было похоже на театр абсурда. Прокуратура пыталась признать экстремистской книгу «Бхагавад-гита как она есть». Древний текст, священный для миллионов людей. На основании чего? На основании экспертизы, которую провели... преподаватели Томского университета, не имеющие никакого отношения к индологии. Ключевую роль в инициировании процесса сыграли люди из структуры Дворкина — Максим Степаненко, Роман Силантьев и другие. Они искали экстремизм в словах Кришны. И «находили». Потому что задача была не исследовать текст, а подтвердить заранее заданную рамку.

Я посмотрела на часы. Было уже за полночь. Катя спала в соседней комнате. А я думала о том, как легко мы, обычные люди, попадаем в ловушку авторитета. Психолог Роберт Чалдини называл это правилом: «Если это сказал эксперт, значит, это правда». Мы экономим мышление. Мы не хотим разбираться в деталях. Нам проще довериться человеку в пиджаке и с титулом. Эксперимент Милгрэма показал это еще в прошлом веке. Обычные, нормальные люди готовы бить другого человека током (пусть и понарошку, но они-то верили, что по-настоящему), если человек в белом халате скажет: «Продолжайте, это необходимо для эксперимента». 65% людей доходили до смертельного разряда. Потому что ответственность брал на себя «эксперт». «Я просто выполняю инструкции».

Родители в нашем классе сейчас делали то же самое. Они нажимали на кнопку. Они усиливали изоляцию Майи, они писали жалобы, они требовали «принять меры». Но они не чувствовали себя злодеями. У них была индульгенция. Брошюра на столе учителя. Слова «специалиста». «Нам сказали, что это тоталитарная секта. Мы просто защищаем детей». Фигура эксперта снимает моральный запрет на насилие. Если жертва дегуманизирована наукообразно, то жалость к ней — это слабость и некомпетентность.

Я вспомнила еще один факт, который поразил меня своей наглостью. Дворкин и его соратники часто обвиняют своих оппонентов в том, что те

«зомбированы», что у них отключено критическое мышление. Но кто на самом деле отключает критическое мышление? Тот, кто говорит: «Не слушайте их, слушайте только меня. Они врут, а я знаю истину». Тот, кто использует термин «тоталитарная секта» как дубину, которой можно оглушить любой диалог. В одной из статей я нашла анализ того, как Дворкин создает свои теории. *«Его деятельность вряд ли будет подкреплена серьёзной научной базой... Это скорее будут поверхностные суждения, облекаемые в яркую обложку и подкрепляемые неадекватной по силе и модальности эмоциональной окраской»*. Яркая обложка. Эмоции. Страх. Именно это я видела сегодня на собрании. Не факты, а эмоции.

Но самое страшное открытие ждало меня в конце моих поисков. Я нашла информацию о том, как эти «эксперты» влияют на правоохранительные органы. Они не просто пишут книжки. Они читают лекции в академиях МВД, в учебных центрах ФСБ. Представьте себе молодого курсанта или полицейского. Ему рассказывают, что в городе действует законспирированная сеть врагов. Что они хотят захватить власть над миром (цитата Дворкина: *«Каждая из тоталитарных сект стремится к власти над миром»*). Что они превращают людей в зомби. И вот этот полицейский выходит на улицу. Кого он видит в кришнаите, поющем на углу? Кого он видит в протестанте с Библией? Кого он видит в родителях Майи? Он видит врага. Его оптика уже настроена. Ему вставили в голову линзу, через которую мир выглядит как поле боя. И когда поступит сигнал — «фас», — он не будет сомневаться. Он будет действовать так, как его учили на лекциях «профессора».

Я вспомнила трагедию в Уэйко. Там тоже были «эксперты». Рик Росс, самопровозглашенный специалист по депрограммированию, консультировал ФБР. Он убедил силовиков, что внутри находятся не просто верующие, а опасные фанатики, с которыми нельзя договориться. Итог — штурм, пожар, десятки погибших, включая детей. Экспертиза, основанная на ненависти, всегда приводит к крови.

Я закрыла ноутбук. Тишина в квартире казалась звенящей. Мне стало страшно не за Майю. Мне стало страшно за нас всех. Мы живем в мире, где реальность создается не фактами, а интерпретациями. И право на интерпретацию захватила группа людей, которые построили на этом карьеру и

бизнес. Они создали язык, на котором теперь говорит государство, школа и родительский чат. Язык, в котором нет слова «инакомыслие», а есть только «сектантство». Язык, в котором нет слова «диалог», а есть только «борьба».

Утром следующего дня я увидела результат работы «экспертного мнения». На доске объявлений в холле школы висел лист бумаги. Это было официальное обращение инициативной группы родителей к директору. Текст был составлен грамотно, сухо, с использованием тех самых терминов из брошюры. «...просим оградить наших детей от психологического воздействия...» «...наличие признаков деструктивного культа...» «...провести проверку семьи...»

Под текстом стояли подписи. Десятки подписей. Знакомые фамилии. Мама Пети, папа Оли, бабушка Сергея. Люди, с которыми я здоровалась каждое утро. Люди, которые пекли пироги на школьные ярмарки. Они подписали этот донос не дрожащей рукой. Они подписали его с чувством выполненного долга. Потому что «эксперт» разрешил.

Я стояла и смотрела на этот лист. Внизу, в качестве обоснования, была приведена ссылка. «На основании материалов Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ». Таким образом, мнение одного человека, превращенное в государственную печать, спустилось вниз, в обычную школу, и стало оружием в руках обычных родителей. Я видела, как мимо проходила Майя. Она не смотрела на доску объявлений. Она смотрела в пол. Но я знала, что она чувствует этот взгляд. Взгляд невидимого, но всеильного «Эксперта», который уже вынес ей диагноз и подписал приговор. В этот момент я поняла, что школа для неё закончилась. Началась зона отчуждения. И колючую проволоку вокруг этой зоны натянули не хулиганы, а доктора наук и любящие родители.

Глава 5: Сеть

Ночь — единственное время, когда можно думать без помех. Катя спит, город за окном превращается в россыпь огней, а я сижу перед монитором, словно

археолог, который начал раскапывать черепок на заднем дворе и обнаружил под ним руины гигантского города.

Брошюра, которую принесли в школу, лежала передо мной. Дешевая бумага, плохая верстка. На первый взгляд — самодеятельность. Но меня зацепила одна деталь. В самом низу, мелким шрифтом, под выходными данными российского центра, стоял логотип. Синий круг, звезды, латинские буквы. FECRIS. Fédération Européenne des Centres de Recherche et d'Information sur le Sectarism.

Я вбила аббревиатуру в поисковую строку. Я ожидала увидеть какой-нибудь маргинальный сайт на бесплатном хостинге. Но передо мной открылся портал, оформленный с бюрократической строгостью. Ссылки на Совет Европы. Фотографии людей в дорогих костюмах, сидящих в залах с высокими потолками и флагами Евросоюза. В этот момент мое понимание происходящего перевернулось. Я думала, что травля Майи — это наша, местная, доморощенная беда. Что это результат невежества конкретной учительницы и активности нескольких напуганных мам, начитавшихся статей в интернете. Я думала, что «эксперты», пишущие эти методички — это локальный феномен постсоветского пространства.

Я ошибалась. Нить, которую я потянула, вела не в подвал районной библиотеки, а в кабинеты Европы. То, что происходило в нашем классе, было лишь крошечным капилляром в огромной кровеносной системе, опутавшей континент.

Я начала читать. Переводила с французского и английского, сопоставляла даты, фамилии, отчеты. И чем больше я узнавала, тем холоднее становилось внутри. Оказалось, что FECRIS — Европейская федерация центров по исследованию и информированию о сектантстве — была создана в Париже еще в 1994 году. Это не клуб по интересам. Это зонтичная структура, объединяющая десятки организаций по всей Европе. И Россия — одна из ключевых точек на этой карте.

Я нашла список руководства. И тут пазл сложился окончательно. Вице-президентом этой уважаемой европейской организации долгие годы был тот самый Александр Дворкин. Человек, чьи брошюры о «тоталитарных сектах»

лежали на столе в нашей школе. Это было не просто совпадение. Это была вертикаль. Слова, которые произносились на международных симпозиумах во Франции, превращались в методички, методички спускались в министерства, оттуда — в региональные департаменты образования, и в итоге превращались в злую шутку про «космическую гречку» в чате моей дочери.

Но самое интересное крылось в деталях финансирования. Я привыкла думать, что борьба с сектами — это удел энтузиастов или церковных активистов. Но документы говорили о другом. Во Франции, которая стала одной из первых стран Европы, институционализировавших антисектантскую политику, борьба с инакомыслием была поставлена на государственные рельсы. Я наткнулась на отчеты двух французских организаций — UNADFI и CCMM, которые впоследствии участвовали в создании и развитии международной сети FECRIS. Цифры поражали. Подавляющая часть их финансирования в разные годы поступала из государственных источников — через субсидии, гранты и целевые программы. В ряде отчетных периодов доля государственного финансирования превышала девяносто процентов, тогда как частные пожертвования составляли лишь незначительную часть бюджета.

Вдумайтесь в эти цифры. Если организация существует на пожертвования, это значит, что у неё есть поддержка в обществе. Люди голосуют рублем или евро, потому что считают проблему важной. Но здесь поддержка общества была равна статистической погрешности. Считанные проценты. Это ничто. Это означало, что обычным французам, как и обычным русским, в целом плевать на то, кто как молится или медитирует. У них нет запроса на охоту на ведьм. Запрос есть у государства. Это была искусственная конструкция. Огромная машина, работающая на топливе из налогов, созданная для того, чтобы имитировать «глас народа».

Я читала про MIVILUDES — Межведомственную миссию по борьбе с сектантскими отклонениями. Это французское государственное агентство, которое в разные периоды находилось при аппарате премьер-министра. Они создали идеальную схему. Государство выделяет средства на «борьбу». Эти деньги идут в сеть профильных ассоциаций (например, UNADFI и CCMM), связанных с «антикультовым» полем (сама FECRIS в публичных заявлениях также характеризовалась как структура, частично субсидируемая французским

государством). Те проводят конференции, пишут страшные отчеты о «засилье сект», создают информационный шум. И на основании этих отчетов государство говорит: «Смотрите, какая угроза! Нужно выделить еще больше денег и ужесточить законы». Замкнутый круг. Самовоспроизводящаяся система страха.

Я нашла историю Алена Вивьена, бывшего президента MILS (предшественницы MIVILUDES). Это был классический пример того, как идеология превращается в кормушку. Бюджет организации он тратил на зарубежные поездки. Огромные суммы ушли на покупку роскошных зданий для антикультовых центров. В итоге он ушел в отставку после финансовых скандалов, но дело его жило. Система была построена. И она работала не только во Франции. Она экспортировала свои методы.

На экране моего ноутбука была фотография. Бельгийский парламент. Солидные люди в креслах. Среди них — Андре Фредерик, президент FECRIS. Он не просто общественник. Он член Федерального парламента Бельгии. Рядом с ним на фото — представители международного антикультового поля и российские «сектоведы». Те самые, которые требуют запретить йогу и кришнаитов в России. Они улыбаются. Они партнеры. Я смотрела на это фото и понимала: мы имеем дело с транснациональной корпорацией по производству нетерпимости.

В одной из статей я нашла объяснение того, как это работает политически. Частная, крайне радикальная идеология кучки людей становится частью государственной политики. Как? Через подмену понятий. Они не говорят: «Мы против свободы совести». Это звучало бы дико в демократической Европе. Они говорят: «Мы защищаем права человека от злоупотребления». Звучит благородно. Кто же против защиты от злоупотреблений? Но под «злоупотреблениями» они понимают любую веру, которая не укладывается в их стандарты. А под «защитой» — полицейские рейды, лишение родительских прав и информационную травлю.

Я вспомнила фразу, которую часто слышала в новостях: «иностранные агенты». Нам говорят, что секты — это агенты Запада, которые хотят развалить наши духовные скрепы. Но вот парадокс. Российские борцы с сектами, которые громче всех кричат о патриотизме, ездят в Брюссель и Париж. Они получают трибуну в Европарламенте. Они обнимаются с западными политиками. Они —

часть одной сети. И риторика у них удивительно похожая. Европейские антикультисты кричат: «Секты — это троянский конь США в Европе!». Российские антикультисты кричат: «Секты — это оружие США против России!». Китайские товарищи из China Anti-Cult Association (партнеры FECRIS) вторят: «Злые культы — инструмент американского империализма!».

Все они борются с одним и тем же выдуманным врагом. И все они используют одни и те же методы. Я нашла информацию о том, как FECRIS сотрудничает с Китаем. Пока весь мир ужасался репрессиям против уйгуров и последователей Фалуныгун (которых, по данным правозащитников, обвиняли в насильственном изъятии органов), представители FECRIS ездили в Пекин на симпозиумы. Они кивали головами, когда китайские чиновники рассказывали о «перевоспитании». Они легитимизировали насилие своим европейским статусом. Если европейский эксперт сидит в президиуме в Пекине, значит, то, что делает Китай — это не дикость, а «борьба за духовную безопасность».

Мне стало физически дурно. Я представила Майю. Маленькую девочку с рюкзаком-авокадо. Против неё сейчас работала не просто Марья Ивановна, классный руководитель. Против неё работала машина, которая оправдывала концлагеря в Китае. Машина, которая пилила бюджеты во Франции. Машина, которая писала законы в Европе. Эта машина была смазана ложью и деньгами. И она была абсолютно безжалостна, потому что у неё не было лица.

Я нашла еще один интересный факт, который показывал всю абсурдность и одновременно опасность этой структуры. Несмотря на громкие названия, гранты и субсидии, реальная численность этих организаций была смехотворной. Генеральный секретарь FECRIS Мирей Деген — пенсионерка, бывшая учительница. Штаб-квартира бельгийского отделения находилась... в гостиной её квартиры. Казначей марсельского отделения Дидье Пашу — водитель трамвая. Офис — в его гостевой комнате. Это было похоже на декорацию в театре. Фасад дворца, за которым — пустота и пара табуреток. «Фикция, полупустая оболочка», — так называли это исследователи.

Но эта «оболочка» имела статус при Совете Европы. Эта «оболочка» влияла на судьбы миллионов людей. Как такое возможно? Ответ был прост: «Эксперт — это не тот, кто что-то знает, а тот, у кого спрашивают». Политикам удобно иметь под рукой карманных экспертов. Если нужно принять непопулярный закон,

ограничить свободы, усилить контроль — всегда можно позвать антикультового «специалиста». Он достанет из портфеля нужную справку, расскажет страшилку про «зомбирование», и дело сделано. Это симбиоз.

Я смотрела на схему связей, которую кто-то из журналистов выложил в сеть. Стрелочки тянулись от Москвы к Парижу, от Парижа к Пекину, оттуда — в Нью-Йорк (к американским депрограмматорам вроде Рика Росса). Это была глобальная паутина. И моя дочь, сама того не ведая, стала узелком в этой паутине. Когда она смеялась над мемом про «секту», она повторяла слова, придуманные не в нашем дворе. Эти слова были переведены на русский, адаптированы под наши реалии иброшены в информационное поле.

Я вспомнила, как я ужасалась тому, что родители в классе подписали письмо. Теперь я понимала, почему они это сделали. Они чувствовали за спиной силу. Не просто силу директора школы, а силу Системы. Когда по телевизору говорят о «сектах», когда в газетах пишут «эксперты», когда депутаты принимают законы — у обычного человека отключается критическое мышление. Он думает: «Ну не могут же они все врать? Не может же государство ошибаться?». Может. История XX века кричит нам о том, что государство может не просто ошибаться. Оно может быть главным преступником. И механизмы всегда одни и те же. Создать образ врага. Наклеить ярлык. Дегуманизировать.

Я нашла статью итальянских журналистов с сайта *Libero Credo*. Они называли вещи своими именами: «FECRIS — экстремистская группа в сердце Европы». Они писали о том, как в Италии эти же люди, финансируемые из Франции, разжигают истерию. Как они выдумывают новости. Как они используют «беглецов» — людей, обиженных на свои бывшие общины, — чтобы создавать громкие заголовки. «Когда нет новостей, которые можно исказить, они попросту их выдумывают».

Я вспомнила слух про «отъем квартир», который гулял по нашему чату. Никто не знал ни одного реального случая. Но все «слышали». Теперь я знала, откуда дует ветер. Это была технология. В публичной риторике антикультовых структур воспроизводятся одни и те же «страшилки»: разрушенные семьи, потеря имущества, угрозы детям, — и что эмоция важнее факта. Страх — это валюта, которая конвертируется в гранты.

Я сидела в темноте, и мне казалось, что стены комнаты раздвинулись. Я больше не была в безопасности своего дома. Я была на поле боя. И это была не битва за душу Майи. Это была битва за реальность. Кто имеет право решать, что есть «норма», а что — «патология»? Теперь это решают водитель трамвая из Марселя или бывший активист из Москвы, получившие государственные печати.

Я посмотрела на часы. Три часа ночи. Нужно было ложиться спать. Завтра снова школа, снова косые взгляды, снова молчание. Но я знала, что больше не смогу смотреть на это как раньше. Я сохранила все файлы на жесткий диск. Схемы, таблицы финансирования, фотографии улыбающихся борцов с инакомыслием. Я не знала, что мне с этим делать. Я не журналист, не политик. Я не могу разрушить эту сеть. Но я могу хотя бы не быть её частью.

Я открыла файл с той самой брошюрой, с которой всё началось. Теперь я читала её иначе. Я видела не заботу о детях. Я видела маркеры. Вот здесь — калька с французского доклада MIVILUDES. Вот здесь — цитата из американского депрограмматора 70-х годов. Вот здесь — чистое изобретение Дворкина. Это был Frankensteiner, сшитый из кусков чужой ненависти.

В конце документа был список «рекомендованной литературы». И среди прочих названий я увидела ссылку на сайт. Я кликнула. Сайт открылся медленно. На главной странице висела карта мира. На ней красными точками были отмечены «опасные зоны». Я приблизила карту. Красные точки покрывали Европу густой сыпью. Они были в Америке, в России, в Китае. Это была карта их влияния. И одна из этих красных точек, невидимая, но реальная, пульсировала сейчас прямо здесь. В нашем районе. В школе, где учится моя дочь.

Я закрыла ноутбук. Темный экран отразил мое лицо. Усталое, бледное. Я поняла, что школьная травля — это не сбой системы. Это её успешная работа. Майя не просто «не понравилась» одноклассникам. Она попала под каток глобальной индустрии исключения. И остановить этот каток в одиночку невозможно. Но можно хотя бы увидеть, кто сидит за рычагами.

Я встала и подошла к окну. Город спал. Где-то там, в темноте, спала Майя. Спали её родители, не подозревая, что их судьба обсуждалась на конференциях

за тысячи километров отсюда. Что их «вина» была определена не их поступками, а людьми, которые никогда их не видели. Сеть была заброшена. И ячейки этой сети были сплетены из слов, которые мы так легкомысленно повторяли.

На столе осталась лежать распечатка. Фотография с конференции в Риге. 2018 год. Люди в костюмах стоят на сцене. Среди них я узнала лицо того самого «эксперта», чью фамилию шепотом передавали в родительском чате как истину в последней инстанции. Он улыбался. Ему было весело. Для него это была просто работа. Успешная карьера. Гранты, поездки, уважение коллег. А для девочки из 10 «Б» это была жизнь, которая ломалась с каждым днем всё сильнее. И от этого знания мне стало по-настоящему страшно.

Глава 6: Страх

После визита «эксперта» и появления брошюр смех в школьных коридорах стих. Фаза насмешки, когда Майя была просто забавным мемом, закончилась внезапно, словно кто-то выключил звук. На смену ей пришла тишина. Но это была не мирная тишина покоя, а напряженная, вибрирующая тишина засады. Люди перестали шутить, потому что шутить над опасностью — плохая примета. А в том, что Майя и её семья представляют опасность, теперь, кажется, не сомневался никто.

Я наблюдала за этой метаморфозой с ужасом натуралиста, который видит, как безобидная на вид плесень вдруг начинает пожирать всё живое вокруг. Родители в чате больше не соревновались в остроумии. Теперь там царила деловитая, сухая паника. «Надо проверить их рюкзаки». «Мой сын сказал, что она смотрела на него на перемене. Я запретила ему смотреть в ответ. Мало ли, гипноз». «А если у них оружие? В таких сектах всегда есть оружие».

Оружие. Это слово появилось в переписке впервые. Никто никогда не видел у родителей Майи даже перочинного ножа. Они были вегетарианцами, занимались йогой и, судя по всему, мухи не обидели бы. Но страх не нуждается

в фактах. Страх — это художник-абстракционист, он рисует образы прямо поверх реальности.

Вечером, уложив Катю спать, я снова села за компьютер. Мне нужно было понять, откуда берется эта уверенность в насилии. Почему мирные люди, соседи, вдруг начинают верить, что рядом с ними живут террористы? Мои поиски привели меня к событию, которое произошло за тысячи километров отсюда и за тридцать лет до сегодняшнего дня. Но сценарий был написан теми же чернилами.

Уэйко. Техас. 1993 год. Я помнила это название смутно, из новостей юности. Что-то про фанатиков, пожар, массовое самоубийство. Такова была официальная версия, осевшая в голове обывателя. Но когда я открыла документы, отчеты и независимые расследования, передо мной разверзлась другая картина.

История общины «Ветвь Давидова» была идеальным примером того, как работает механизм нагнетания истерии. Эти люди жили на ранчо Маунт-Кармел в традиции «давидианцев», чье поселение восходит к 1935 год. Они были ответвлением давидианского движения, выросшего из адвентистской среды, глубоко верующими, немного странными для внешнего мира, но абсолютно мирными. Они платили налоги, торговали на ярмарках, чинили машины соседям. Никто не называл их «сектой». До определенного момента.

Я читала статью «Преступления антикультизма: дело Уэйко» и чувствовала, как волосы шевелятся на затылке. Трагедия началась не с выстрелов. Она началась со слов. За несколько лет до штурма вокруг общины начали сгущаться тучи. И дирижером этой бури был человек по имени Рик Алан Росс. Это имя я уже встречала в схемах связей международной антикультовой сети. Американский «депрограмматор», самопровозглашенный эксперт, человек без профильного образования, но с огромными амбициями и с криминальными эпизодами в молодости (включая дела о попытке взлома) и дальнейшими громкими конфликтами вокруг “насильственных депрограммирований”. Именно он имеет прямое отношение к кампании по демонизации.

Механизм был прост и страшен в своей эффективности. Сначала — вброс в СМИ. Газета *Waco Tribune-Herald* стала рупором этой войны. Статьи выходили одна за другой. В них давидианцев уже не называли верующими. Их называли «культистами». Их лидера, Дэвида Кореша, рисовали маньяком, педофилом, вооруженным фанатиком. Я смотрела на сканы тех газет. Заголовки кричали. Они били по самым болезненным точкам общества. «Насилие над детьми». «Склад оружия».

Были ли доказательства? Шериф местного округа, который знал давидианцев много лет, говорил, что никаких признаков насилия над детьми нет. Кореш сам предлагал полиции прийти и проверить всё: и детей, и лицензии на оружие (они торговали им легально, это был их бизнес). Но кому нужен скучный шериф, когда есть яркий, харизматичный «эксперт» Рик Росс, который говорит: «Они — монстры. Они готовят новый Джонстаун. Их нельзя слушать, их надо спасать. Или уничтожать».

Я представила, как это происходило. Обычные американцы читали газеты за утренним кофе. И с каждым заголовком их страх рос. Страх за детей. Страх перед непонятным. И этот страх передался тем, у кого в руках была власть и оружие. ФБР и Бюро по контролю за алкоголем, табаком и огнестрельным оружием (ATF).

То, что случилось потом, психологи называют «самосбывающимся пророчеством». Если вы долго кричите, что собака бешеная, и начинаете бить её палкой, она рано или поздно оскалится. И тогда вы скажете: «Видите! Я же говорил! Она агрессивна!». Антикультисты убедили федералов, что давидианцы — это не люди, а зомбированные фанатики, с которыми нельзя договориться. Что они понимают только силу. И вместо того, чтобы постучать в дверь с ордером (как это делалось бы с любыми другими гражданами), ATF устроило штурм. «Динамичное вторжение». 28 февраля 1993 года. Агенты, стрельба, вертолеты. Давидианцы, уверенные, что на них напали бандиты (агенты по их восприятию действовали как атакующие), начали защищаться и применили оружие. А раз давидианцы стреляют, значит, эксперт был прав, что они террористы.

Я читала отчеты о 51-дневной осаде. Это было похоже на чтение хроник средневековой пытки, только с применением высоких технологий. ФБР,

получавшее советы и «внешний взгляд» от самоназванных «культ-экспертов», включая Рика Росса, отказалось от переговоров. Зачем говорить с «сектантами»? Росс убеждал их: Кореш манипулирует вами. Любое его слово — ложь. Любое затишье — подготовка к атаке. Вместо диалога они включили психологическое давление. По ночам на ранчо направляли прожекторы. Через гигантские динамики транслировали звуки убиваемых кроликов, визг бормашины, тибетские мантры (какая ирония!) и песни Нэнси Синатры. Они хотели сломать их волю. Но они добились обратного. Люди внутри, только убеждались в своей правоте: внешний мир — это зло, это Вавилон, который пришел их уничтожить.

Я перенеслась мыслями в наш школьный класс. Конечно, масштабы несопоставимы. У нас нет танков и звуковых пушек. Но психологическая схема та же. Когда родители в чате пишут: «С ними бесполезно разговаривать, они зомби», — они повторяют слова Рика Росса. Они отказывают родителям Майи в праве на субъектность. Если мама Майи придет на собрание и попытается объяснить, что йога — это просто спорт, её не услышат. «Она врет. Это часть их методики. Сектантам разрешено врать неверным». Любое её слово будет истолковано против неё. Молчит? «Скрывает преступные замыслы». Говорит? «Вербует». Защищается? «Проявляет агрессию».

В Уэйко эта логика привела к аду. 19 апреля 1993 года. Финал. ФБР решило закончить осаду. Они пустили в здание газ. CS-газ. Раздражающее слезоточивое средство: международное право запрещает использовать такие вещества *как метод ведения войны*, но допускает их для правоохранительных целей — и именно так власти США юридически обосновывали применение. Я нашла описание действия этого газа. Он вызывает жжение, удушье, кашель, резь в глазах, панику и тяжёлые приступы удушья; в закрытых пространствах и при уязвимых группах (дети, пожилые) риск резко возрастает. В здании были дети. Младенцы. Агенты знали это. Но, видимо, «эксперты» убедили их, что это не просто дети. Это «дети культа». Или жертвы, которых нужно «спасти» любой ценой, даже ценой их жизни.

Танки ломали стены. Газ заполнял комнаты. А потом начался пожар. Официальная версия гласила: фанатики подожгли себя сами. Но независимые расследования, свидетельства выживших говорят о других сценариях развития событий. Огонь мог вспыхнуть от пиротехнических средств, использованных

при штурме. Или от того, что танки опрокинули керосиновые лампы. Но даже если бы они подожгли себя сами — кто довел их до этого состояния? Кто создал условия, в которых смерть казалась единственным выходом?

82 погибших. 25 детей. Я сидела перед экраном, и слезы текли по моим щекам. Я не могла это контролировать. Я сама мать. Я представляла, что чувствовали эти женщины, прижимая к себе детей, пока снаружи стояли танки. Они думали, что живут в свободной стране. Они думали, что конституция их защищает. Но оказалось, что слово «секта» сильнее конституции. Оно отменяет права человека. Оно превращает людей в биомассу, которую можно травить газом.

Самое страшное было в деталях. В отчетах патологоанатомов. Тела были настолько изуродованы, что их собирали по кускам. «Мешок 31В». «Мешок 67-3». Иногда в одном мешке были части тел нескольких людей. Обезличенные номера. Вот к чему приводит дегуманизация. Сначала ты называешь человека «культистом», потом «угрозой», а в конце он становится просто «объектом № 31В».

И кто понес наказание? Рик Росс? Нет. Он продолжил карьеру «эксперта». Он давал интервью, писал книги. Он с гордостью указывал, что «консультировал ФБР по делу Уэйко». Для него это была строчка в резюме. Успешный кейс. Для 25 детей это была смерть в огне.

Я нашла цитату адвоката Джека Циммермана, который защищал выживших давидианцев. Он рассказывал о матери одного из погибших. Она смотрела по телевизору, как танк сносит дом, где находился ее сын. «Я думала, он будет в безопасности в Америке», — сказала она. Безопасности нет нигде, если работает машина ненависти.

Я вернулась к реальности. Почему я читаю про Уэйко? Какое это имеет отношение к нам? Прямое. Страх, который сейчас нагнетается в нашем классе, имеет ту же природу. Родители боятся за своих детей. Это самый сильный инстинкт. И именно на этом инстинкте играют манипуляторы. Им говорят: «Эта девочка опасна для ваших детей». И родители превращаются в зверей. Они готовы разорвать, изгнать, уничтожить — лишь бы защитить свое потомство. Они не видят в Майе ребенка. Они видят в ней вирус.

Я вспомнила фразу из статьи про Руанду. Там по радио называли тутси «тараканами» (*inyenzi*). Зачем? Таракана не жалко. Таракан — это антисанитария. Таракан угрожает здоровью дома. Убить таракана — это гигиена. В Уэйко давидианцев называли «культистами». У нас Майю называют «сектанкой». Слова разные, суть одна. Снятие морального запрета на агрессию.

В чате появилось новое сообщение. Мама одного из мальчиков, обычно тихая женщина, написала: *«Я считаю, мы не должны ждать, пока что-то случится. Надо действовать на опережение. Если школа не может их убрать, мы должны сделать так, чтобы они сами ушли. Ради безопасности наших детей»*. «Действовать на опережение». Это та же логика, что и у ФБР в 1993 году. Превентивный удар. Они еще ничего не сделали, но они *могут* сделать. Поэтому давайте уничтожим их сейчас.

Я поняла, что мы прошли точку невозврата. Смех закончился. Началась антикультовая война. И эта война велась под знаменем «защиты детей». Самым святым знаменем, которым прикрывались самые страшные преступления в истории.

Я нашла информацию о том, как антикультисты используют термин «защита семьи». Они говорят, что секты разрушают семьи. Но статистика показывает обратное: именно вмешательство «депрограмматоров», насильственное извлечение, давление извне разрушает связи. В Уэйко семьи были уничтожены физически. В других случаях их уничтожают юридически, через суды по опеке. И всегда это делается с лозунгом «Мы спасаем».

Я посмотрела на фотографию Рика Росса. Обычное лицо. Не злодейское. Лицо бюрократа или менеджера среднего звена. Именно такие люди нажимают на кнопки. Он не стрелял в детей. Он просто сказал: «Они не люди».

Мне стало страшно выходить на улицу. Мне казалось, что я вижу невидимые нити, тянущиеся от нашего дома, от нашей школы куда-то вверх, в темное небо, где сидят кукловоды. Они дергают за ниточки страха. «Бойся соседа». «Бойся иного». «Бей первым».

Я вспомнила еще один факт из расследования. Газ CS, который закачивали в здание, был легковоспламеняющимся. Агенты понимали риски. Но они продолжали закачивать его, пробивая дыры в стенах танками, превращая дом в

газовую камеру. Они не видели там людей. Они видели «проблему», которую надо «решить». Наши родители в чате сейчас тоже ищут способ «решить проблему». Пока они обсуждают коллективные письма и бойкот. Но что будет завтра? Если кто-то из детей толкнет Майю? Если кто-то подкинет ей в рюкзак что-то запрещенное? Если кто-то распустит слух, что она предлагала наркотики? Почва уже удобрена страхом. Любое семя лжи прорастет мгновенно.

Я закрыла файл с фотографиями пожарища. Но запах гари, казалось, просочился сквозь монитор. Это был запах сожженной человечности. Я поняла, почему люди верят в угрозу. Потому что верить проще, чем думать. Думать — значит допускать, что «чужой» может быть хорошим человеком. Думать — значит брать на себя ответственность. А страх освобождает от ответственности. «Я испугался, поэтому я ударил». Это универсальное оправдание.

В Уэйко это оправдание стоило жизни 82 людям. Сколько жизней оно будет стоять здесь? Не обязательно физических смертей. Сломанная судьба — это тоже смерть. Майя еще ходит в школу. Она еще дышит. Но для коллективного разума нашего района она уже помечена как «цель», которая подлежит зачистке.

Я выключила компьютер. Темнота комнаты навалилась на меня. В тишине я слышала дыхание спящей дочери. Я поклялась себе, что не дам ей стать частью этой машины. Но как? Как остановить лавину, которая состоит из страха тысяч людей? Я не знала ответа. Я знала только одно: завтра утром, когда я поведу Катю в школу, я буду смотреть на других родителей иначе. Я буду видеть в них потенциальных операторов газовой камеры, которые просто ждут команды «фас», уверенные, что делают благое дело.

На столе завибрировал телефон. В чате пришло новое сообщение. Фотография. Кто-то сфотографировал машину отца Майи, припаркованную у магазина. И подпись: *«Следим. Если увидите что-то подозрительное — сразу пишите. Мы должны знать каждый их шаг»*. Слежка началась. Охота перешла в активную фазу. И страх окончательно заполнил пространство нашей жизни, вытеснив остатки здравого смысла.

Глава 7: Отчуждение

Тишина наступила внезапно, словно кто-то невидимый повернул ручку громкости до нуля. Ещё неделю назад воздух вокруг Майи дрожал от электричества: шутки, смешки, перешёптывания, летящие в спину бумажные шарики с нарисованными инопланетянами. Это было жестоко, но это было *взаимодействие*. В этом была энергия, пусть и отрицательная. Майя была центром внимания, объектом, пусть и карикатурным.

Теперь же она стала пустотой.

Я заметила это, когда пришла в школу забрать Катю после факультатива. Был полдень, большая перемена. Вестибюль гудел, как растревоженный улей: сотни подростков, смех, топот, музыка из телефонов. Я стояла у окна, ожидая дочь, и наблюдала за этим хаотичным броуновским движением. И вдруг я увидела её. Майя шла сквозь толпу. Это было похоже на физический эксперимент. Вокруг неё образовывалась идеальная сфера отчуждения. Никто не толкал её, никто не преграждал путь. Наоборот. Перед ней расступались. Но не с уважением, а с брезгливостью, с какой обходят лужу или кучу мусора. Девочка из параллельного класса, смеясь, бежала навстречу подруге, но, увидев Майю, резко затормозила, сделала шаг в сторону и, как только Майя прошла, продолжила бег. Два парня, стоявшие у подоконника, замолчали на полуслове, проводили её взглядом и, только когда она скрылась за поворотом коридора, снова заговорили.

Майя не смотрела по сторонам. Её взгляд был расфокусирован, направлен куда-то внутрь или сквозь стены. Она несла свой рюкзак так, словно это был не школьный портфель, а тяжелый крест. В этом коридоре, полном жизни, она была призраком. Она была вырезана из реальности ножницами общественного мнения.

Когда Катя вышла, я спросила её об этом. Осторожно, стараясь не звучать как морализатор.

— Кать, а почему с Майей никто не разговаривает?

Дочь пожала плечами, поправляя шарф.

— А о чём с ней говорить? Она же... ну, ты поняла.

— Её кто-то обижает?

— Нет, мам, ты что! — Катя даже возмутилась. — Мы же не дикари. Никто её не трогает. Просто... ну, она токсичная. С ней общаться — себе дороже. Пацаны говорят, что если с ней заговоришь, то тоже в этот список попадёшь.

— В какой список?

— Ну, в список ненормальных.

«Список». Это слово резануло слух. Списков не существовало на бумаге. Никто не вывешивал приказ на доске объявлений: «Запрещено разговаривать с ученицей М.». Но этот список был выжжен в коллективном сознании класса прочнее, чем любые чернила.

Вечером я снова открыла свои архивы. Мне нужно было понять природу этой тишины. Почему отсутствие действия — простое игнорирование — ощущается страшнее, чем прямая агрессия? Я нашла ответ в истории. То, что происходило сейчас в нашей школе, имело древнее и страшное название: социальная смерть. Это был механизм, отточенный веками. Прежде чем уничтожить человека физически, его нужно уничтожить социально. Нужно разорвать все связи, которые делают его частью общества. Нужно превратить его в остров, до которого не докричаться.

Я читала статью «Метод клеймения жёлтыми звёздами». Мы привыкли воспринимать жёлтую звезду Давида как символ нацистского Холокоста, как нечто, принадлежащее черно-белой хронике сороковых годов. Но суть этого знака была не в куске ткани. Суть была в визуализации границы. Звезда говорила: «Этот человек — не такой, как вы. Он здесь, но он не с нами. Он вне закона. Он вне морали».

Я наткнулась на исторический факт, который поразил меня своей обыденностью. Оказывается, инициатива введения отличительных знаков часто исходила не с самого верха, а с мест. Город Влоцлавек, оккупированная Польша. Местная немецкая администрация издала приказ: все евреи, независимо от возраста и пола, обязаны носить жёлтый знак на спине и груди.

Это произошло ещё до того, как подобные требования были закреплены в виде общеобязательных норм на уровне генерал-губернаторства (например, декретом Ганса Франка 23 ноября 1939 года). Такие меры нередко вводились на

местах «на опережение», а часть населения, уже заражённая предрассудками, могла воспринимать это как «удобный» способ сегрегации: видеть, кто есть кто, и заранее знать, кого можно не пускать, не замечать, не считать равным. Местное население, пропитанное антисемитизмом, с энтузиазмом поддержало эту меру. Им было удобно знать, кого можно не пропускать в очереди, кого можно толкнуть, кому можно не отвечать на приветствие.

В нашем классе не было немецкой администрации и декретов. Но у нас были инициативные родители в чате, которые писали: «Надо предупредить детей, чтобы держались подальше». Это и был приказ о введении невидимых жёлтых звёзд. И дети, эти маленькие барометры взрослого настроения, исполнили его с пугающей точностью.

Я представила, как Майя заходит в столовую. Школьная столовая — это особое пространство. Это место социализации. Здесь заключаются союзы, здесь обсуждаются тайны, здесь ты чувствуешь себя частью племени. Запах выпечки, звон вилок, гул голосов. Майя берет поднос. Она идет к столам. И тут происходит чудо наоборот. Свободные места есть, но как только она приближается к столу, сидящие там вдруг вспоминают, что им пора уходить. Или ставят на пустой стул рюкзак: «Занято». Она садится одна. Вокруг неё образуется вакуум. За соседними столами жизнь кипит, а она сидит в капсуле тишины. Она ест свою кашу, глядя в тарелку, потому что если она поднимет глаза, то встретится с пустотой. Никто не смотрит на неё. Она прозрачна.

Психологи говорят, что для подростка бойкот — это пытка, сопоставимая с физической болью. В этом возрасте принадлежность к группе — это вопрос выживания. Быть изгнанным из стаи — значит умереть. Мозг считает социальную изоляцию как угрозу жизни. Выделяются те же гормоны стресса, что и при нападении хищника. Майя жила в состоянии хронического нападения, хотя никто её не бил.

Я нашла историческую параллель, уходящую еще глубже, в Средневековье. XIII век. Инквизиция. Еретиков, которые раскаялись, не всегда сжигали. Иногда их приговаривали к ношению «покаянных крестов». Жёлтых крестов, нашитых на одежду спереди и сзади. Книга Рене Вайса «Жёлтый крест» описывает это как «вертикальная перекладина — две пяди, поперечная — пядь с половиной». Человек с таким крестом мог ходить по улицам. Он мог работать. Но он был

прокаженным. В глазах окружающих жёлтый крест служил знаком позора; человек, который его носил, воспринимался как язва общества. С ним переставали здороваться соседи. Торговцы неохотно продавали ему еду. Его бывшие друзья переходили на другую сторону улицы.

Майя носила такой крест. Только он был сшит из слова «сектантка». И этот крест был тяжелее, потому что его нельзя было снять вместе с курткой. Он прирос к коже.

Вечером Катя делала уроки на кухне.

— Мам, нам по обществознанию задали проект в парах, — сказала она, грызя ручку.

— И с кем ты делаешь? — С Ленкой, конечно.

— А Майя? С кем делает Майя?

Катя замялась.

— Ну... её учительница хотела к нам прикрепить. Но мы сказали, что у нас уже тема распределена. И вообще...

— Что вообще?

— Мам, ну некомфортно с ней. Она молчит всё время. Смотрит так... исподлобья. Жутко.

— А может, она молчит, потому что вы с ней не говорите?

— Ой, всё. Училка её к Петровым посадила. Они тоже не в восторге были, но деваться некуда. Сидят теперь как на поминках.

«Как на поминках». Дети удивительно точно подбирают слова, сами того не осознавая. Они похоронили её заживо. Для них она уже не существует как живой, чувствующий человек. Она — объект, который навязали, «нагрузка». Я вспомнила мысль, встречающуюся в работах об инквизиции (в том числе у Мейкока): даже после формального «прощения» клеймо «ереси» воспринималось как неизгладимое. Для класса Майя была «запятнана». И никакое её поведение не могло это изменить. Если бы она завтра принесла всем конфеты, сказали бы: «Пытается подкупить». Если бы она начала шутить,

сказали бы: «Смотрите, у неё истерика». Ярлык работает как кривое зеркало: любое действие жертвы трактуется как подтверждение её порочности.

Я снова обратилась к документам. Мне попала статья, там была мысль, которая заставила меня содрогнуться. Самое страшное преступление — это не убийство. Это равнодушие, которое делает убийство возможным. Когда Каин убил Авеля, Бог спросил его: «Где брат твой?». Каин ответил: «Разве я сторож брату моему?». Этот ответ — квинтэссенция того, что происходило сейчас. «Мы её не трогаем», — говорит моя дочь. «Мы не сторожа ей». Мы просто отошли в сторону. Мы просто создали пространство, в котором человеку холодно.

В нацистской Германии процесс исключения евреев тоже начинался не с лагерей. Он начинался с «гражданской смерти». Нюрнбергские законы 1935 года. Евреев лишили гражданства. Им запретили работать врачами, учителями, журналистами. Но еще до законов была бытовая изоляция. «Не покупайте у евреев». «Не играйте с еврейскими детьми». Я смотрела на фотографию 1938 года. Скамейка в парке. На ней надпись: «Не для евреев». Это было сделано не для того, чтобы евреи не сидели. Это было сделано для того, чтобы немцы видели: есть «мы», люди, которые могут сидеть. И есть «они», которые должны стоять. Это воспитание высокомерия. Воспитание чувства превосходства через унижение другого.

Моя дочь и её одноклассники сейчас проходили этот урок. Урок превосходства. Они чувствовали себя элитой, «чистыми», потому что они не были «сектантами». И это чувство было сладким. Оно объединяло класс. Против кого дружим? Против Майи. Ничто так не сплачивает коллектив, как наличие общего изгоя.

Я нашла еще один документ, касающийся современной Европы. Отчет о дискриминации по религиозному признаку. Там описывалась ситуация, когда человеку отказывали в работе не потому, что он плохой специалист, а потому, что его имя было в «черном списке» антикультистов. В профессиональных кругах распространилась директива с клеветнической информацией. Это то же самое гетто, только без стен. Экономическое гетто. Родители Майи уже столкнулись с этим. Клиенты уходили из их клуба. Не потому, что йога стала хуже. А потому, что никто не хочет ходить в «секту». Стигма заразна. Люди боятся испачкаться. «А вдруг меня увидят рядом с ними? Что подумают?»

Страх социальной смерти сильнее страха физического. Человек готов терпеть боль, но не готов терпеть презрение стаи. Именно поэтому никто из класса не заступился за Майю. Даже те, кто, возможно, сочувствовал ей в глубине души. Потому что цена заступничества — самому надеть жёлтую звезду. Встать рядом с прокаженным — значит стать прокаженным. Система исключения работает безупречно, потому что она держится на круговой поруке трусости.

Я вспомнила сцену из фильма про войну, которую видела давно. Пленные идут колонной. А местные жители стоят на обочине и смотрят. Кто-то кидает хлеб, а кто-то плюет. Но большинство просто смотрит. Этот взгляд. Стекланный, отчужденный. Взгляд, который говорит: «Ты больше не человек. Ты — история, которая происходит с кем-то другим». Майя видела этот взгляд каждый день. Тридцать пар глаз, которые смотрели сквозь неё.

В Руанде тоже сначала было слово. Тараканы.

Вы не разговариваете с тараканом. Вы не пытаетесь понять его внутренний мир. Вы не зовете его в гости. Вы просто ждете, когда придет дезинсектор. Изоляция — это подготовка к дезинсекции. Общество должно привыкнуть к мысли, что этой группы людей здесь быть не должно. Что они — инородное тело. Заноза. И когда занозу наконец выдернут, общество должно испытать не ужас, а облегчение.

Я посмотрела на часы. Было уже поздно. Завтра снова в школу. Я представила, как Майя собирает портфель. Кладет тетради, ручки. Может быть, то самое авокадо-брелок. Она знает, что завтра будет то же самое. Она придет в класс, скажет: «Доброе утро», и в ответ ей будет тишина. Учительница назовет её фамилию, не глядя в глаза. На перемене все достанут телефоны и будут показывать друг другу видео, сбившись в кучки. А она будет стоять у окна, делая вид, что ей очень интересно рассматривать улицу.

Это одиночество в толпе страшнее, чем одиночная камера. В камере ты один, потому что стены. Здесь ты один, потому что люди построили стены из своих спин.

Я подумала о том, что мы, взрослые, часто говорим детям: «Не дерись». Мы учим их, что насилие — это кулаки. Но мы не учим их, что молчание может уничтожать. Что взгляд может оставлять шрамы.

В документах Нюрнбергского процесса есть свидетельства о том, как немецкие дети переставали играть с еврейскими друзьями еще до того, как тех увезли. Сегодня мама Пети или Оли говорит: «Она сектантка. Это заразно. Это ментальный вирус». И дети верят. Они строят санитарный кордон.

Я закрыла файл с фотографией жёлтой звезды. На экране остался только черный фон. Я видела в этой черноте глаза Майи. Глаза человека, который кричит, но находится в звуконепроницаемой комнате. «Голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли». Но мы не слышим. У нас свои дела. Мы заняты строительством стен.

Я подошла к окну. Ночной город был расчерчен квадратами света. В каждом окне — жизнь. Где-то там, в одном из этих квадратов, сейчас не спит семья, которая стала изгоем в собственном городе. Они не совершили преступления. Они не украли, не убили. Они просто были *другими*. И за это общество приговорило их к высшей мере наказания — к небытию при жизни.

Глава 8: Диагноз

Слово «сектантка» было пахнущим средневековой площадью и костром. Сектант — это тот, кто выбрал неверный путь. Но на этой неделе словарь изменился. В школьных коридорах, в переписке учителей, в шепоте родителей появилось новое слово. «Зомбированная».

Это произошло незаметно, как смена сезона. Если раньше Майю считали «странной», то теперь её начали считать «больной». И этот сдвиг оказался страшнее любых насмешек. Над больным не смеются — его изолируют. Его лечат. Принудительно, если потребуется.

Всё началось с того, что Катя вернулась из школы с новостью, которую она преподнесла как нечто само собой разумеющееся.

— Майю сегодня к психологу вызывали. На третьем уроке.

— Зачем? — я оторвалась от ноутбука.

— Ну, Анна Сергеевна, наша школьная психологиня, сказала, что у неё «тревожный профиль». Что она подавлена. Что у неё, возможно, депрессия из-за давления в семье.

Я представила Анну Сергеевну. Молодая женщина, вчерашняя выпускница, с горящими глазами и кучей сертификатов на стене кабинета. Она искренне верит, что помогает детям. Она читает методички. Те самые, которые лежали на столе учителя на прошлом собрании. И в этих методичках написано: если ребенок не ест мясо, если он замкнут (а как не быть замкнутым, когда с тобой никто не разговаривает?), если он не участвует в общих развлечениях — это симптом. Симптом чего? «Психологического насилия». «Контроля сознания».

Я поняла, что мы перешли на новый уровень. Уровень Диагноза. Когда общество не может справиться с инакомыслием с помощью аргументов, оно объявляет инакомыслие патологией. Это старый, проверенный трюк. Если ты не согласен с большинством, значит, у тебя что-то не так с головой.

Вечером я села разбираться в этом. Я знала, что история знает примеры, когда белые халаты были страшнее военной формы. Но я не думала, что эти тени прошлого настолько длинные, что дотянутся до нашего времени.

В папке с материалами я нашла статью с пугающим названием: «Психиатрия как инструмент репрессии и государственного давления». Я начала читать и словно провалилась в холодный, кафельный ад. СССР. Страна, в которой я родилась, но о темной стороне которой знала лишь понаслышке. Оказывается, в Советском Союзе существовала целая индустрия по превращению здоровых людей в сумасшедших. Логика была железной, как решетки на окнах: советский строй — самый лучший и справедливый. Следовательно, любой человек, который выступает против него, не может быть нормальным. Только сумасшедший будет критиковать рай на земле.

Я узнала имена архитекторов этого ада. Андрей Снежневский и Дмитрий Лунц. Академики, уважаемые врачи, работавшие в Институте имени Сербского. Именно они придумали диагноз, которого не существовало нигде в мире:

«вялотекущая шизофрения». Это было гениальное изобретение зла. У этой болезни не было четких симптомов. Не нужно было слышать голоса или видеть галлюцинации. Достаточно было иметь «реформаторские идеи», «сутяжничество» (то есть попытки отстаивать свои права) или «религиозный бред». Под это определение попадал любой диссидент. Любой верующий. Любой, кто был неудобен.

Я читала воспоминания правозащитника Александра Подрабиника, автора книги «Карательная медицина». Он описывал систему, где врач становился судьей и палачом в одном лице. Он писал, что карательная психиатрия использовалась как способ расправы с теми, кого сложно посадить «по закону» просто за взгляды и убеждения. Закон требует доказательств. Закон требует состава преступления. А психиатрия требует только подписи врача. «Если есть человек, диагноз найдётся».

Я представила, как это происходило тогда. Человека вызывали на «беседу». Потом везли на экспертизу. И оттуда он уже не возвращался. Он попадал в мир аминазина и галоперидола, препаратов, которые превращали живого, мыслящего человека в овощ, в кусок мяса, пускающий слюни. Голландский правозащитник, сравнивал советский психиатрический террор с нацистскими программами эвтаназии. Он утверждал, что психиатрические клиники стали одним из ключевых инструментов давления на инакомыслящих. Это было духовное убийство. Александр Солженицын писал, что заключение свободно мыслящих здоровых людей в сумасшедшие дома — это духовное убийство, это разновидность газовой камеры, только ещё более жестокая.

Но это было тогда. В тоталитарном государстве. Почему же сейчас, в XXI веке, я читаю об этом в контексте школьной травли и «борьбы с сектами»? Потому что методы не умерли. Они просто сменили вывеску. Сегодня вместо «антисоветской деятельности» врагом объявлено «сектантство». А заказчиками выступают «антикультовые организации» вроде РАЦИРС, те, кто поставляет обществу язык страха и «экспертность», превращающую веру в «угрозу».

Я нашла информацию о том, как современные «эксперты» используют термин «промывка мозгов». Это звучит как научный термин. Brainwashing. Но на самом деле это метафора, придуманная журналистом Эдвардом Хантером в 50-е годы. В науке нет такого понятия. Ни один серьезный психолог не скажет,

что можно «стереть» личность человека и записать новую, как на флешку. Но антикультистам этот термин жизненно необходим. Почему? Потому что он лишает человека субъектности. Если Майя просто верит в то, во что верят её родители — это её право. Это свобода совести. Но если Майе «промыли мозги», то она — жертва. Она не ведаёт, что творит. Она — сломанная кукла. А сломанную куклу нужно чинить. Даже если она кричит и сопротивляется.

Я поняла, что делает школьный психолог. Она не диагностирует Майю. Она конструирует её недееспособность. В отчете, который она, вероятно, пишет прямо сейчас, будут слова: «снижение критичности», «зависимость», «признаки внушаемости». Эти слова станут основанием для того, чтобы вешалась опека. Или суд.

Я наткнулась на современные кейсы, которые заставили меня похолодеть. Это происходило не в 37-м году. Это происходило сейчас, рядом с нами. Июль 2020 года. Крым. Слепой инвалид первой группы. Мусульманин. Его обвинили в организации террористической ячейки. Доказательства? Книги исламской партии Хизб ут-Тахрир, найденные у него дома. Нюанс был в том, что книги были обычными, печатными. А мужчина ослеп в 2009 году. Он физически не мог их читать. Но системе не нужны были факты. Ей нужен был диагноз. Слепой человек был отправлен на стационарную психиатрическую экспертизу. Формально — «для решения экспертных вопросов»; по сути — как часть репрессивной процедуры, где медицинская экспертиза превращается в инструмент давления.

Другой случай. Весна 2023 года. Академик. Член-корреспондент РАН. Человек, который руководил созданием суперкомпьютеров. Интеллектуальная элита нации. Его обвинили в финансировании экстремистской организации. Он отрицал вину. Что сделала система? Она не стала утруждать себя сложными доказательствами финансовых транзакций. Суд в ноябре 2023 года отправил ученого на стационарную психиатрическую экспертизу. Человека, чей мозг — национальное достояние, отправили в место, где этот мозг могут погасить таблетками.

Я видела в этом систему. Психиатрия снова стала служанкой идеологии. И самое страшное, что законодательная база под это уже подведена. Я нашла текст поправок в Уголовно-процессуальный кодекс от декабря 2021 года. Теперь суд

может помещать подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, в психиатрический стационар на срок до шести месяцев. Полгода. Полгода в изоляции, среди действительно больных людей, под воздействием препаратов. Это идеальный способ устранения. Человек исчезает. Он не в тюрьме (где есть адвокаты и правозащитники), он в больнице. А в больнице действуют правила «врачебной тайны» и «режима».

Вернувшись мыслями к школе, я поняла, что наша Анна Сергеевна — это маленький винтик в этой огромной машине. Она, возможно, даже не понимает, что делает. Она думает, что спасает девочку от «деструктивного влияния». Но её заключение — «тревожный профиль», «признаки психологического насилия» — может стать первым камнем в лавине. Если есть заключение психолога, можно обратиться в опеку. Если опека решит, что родители «вредят психическому здоровью ребенка», она может подать в суд. А в суде появятся «эксперты» из антикультового пула, и они скажут: «Да, это типичный случай зомбирования. Девочку нужно изъять и реабилитировать».

«Реабилитация». Еще одно хорошее слово, которое вывернули наизнанку. Я узнала о практике «депрограммирования». В России об этом говорят мало, но это существует. Это бизнес. Родственники, напуганные пропагандой, платят огромные деньги «специалистам», чтобы те «вылечили» их близкого от сектантства. По сути, это похищение. Человека хватают, увозят в закрытый центр (часто под религиозной или «реабилитационной» вывеской) и удерживают там силой. С ним работают «психологи» и психиатры. Ему не дают спать. Его заставляют смотреть фильмы о вреде сект. Его ломают. Любое сопротивление трактуется как симптом болезни. «Видишь, как он агрессивен? Это ломка. Это бесы выходят. Надо продолжать».

Я представила Майю в таком центре. Её родители любят её. Они никогда не отдадут её туда. Но что, если родителей лишат прав? Что, если кто-то решит, что он лучше знает, как спасти душу ребенка? Тогда Майя окажется в руках людей, которые считают её веру болезнью. И будут лечить эту болезнь так, как умеют — насилием, замаскированным под терапию.

В родительском чате тема «психического здоровья» Майи стала доминирующей. *«Я видела, как она дергала плечом на уроке. Это нервный тик. Точно вам говорю, довели ребенка».* *«А взгляд? Вы видели её взгляд?»*

Стеклянный. Как у наркоманов или зомби». «Надо писать коллективное требование, чтобы её проверили у психиатра. Не у школьного, а у настоящего. В диспансере».

Они жаждали диагноза. Диагноз стал бы окончательным оправданием их жестокости. Если она больна, значит, мы правы, что сторонимся её. Если она больна, значит, её родители — преступники, которые довели её до этого состояния. Диагноз снимает все моральные вопросы. С сумасшедшими не дружат. Сумасшедших изолируют ради их же блага.

Я смотрела на фотографию Александра Дворкина. Он не врач. У него нет медицинского образования. Но именно он и его соратники решают, кто здоров, а кто нет. Они создали параллельную медицину. Медицину, где диагноз ставится не на основании анализов или клинической картины, а на основании того, какие книги ты читаешь и кому молишься. В одной из статей я нашла список вопросов, которые ставятся перед экспертами-психиатрами в таких делах. «Способны ли данные убеждения влиять на адекватность?» «Может ли данный человек работать на госслужбе?» Это вопросы о гражданской смерти. Ответ «да» на любой из них означает конец карьеры, конец нормальной жизни.

Мне стало страшно от того, насколько легко это делается. Не нужно строить ГУЛАГ. Не нужно возрождать НКВД. Достаточно просто изменить определение нормы. Если кто-то отличается — это патология. А патологию по их логике нужно вырезать.

На следующий день я увидела Майю у кабинета психолога. Она сидела на банкетке, сжав руки в коленях. Рядом стояла Анна Сергеевна и что-то говорила ей, мягко, участливо, наклонившись к самому лицу. Со стороны это выглядело как забота. Но я видела, как Майя вжимается в стену. Она чувствовала фальшь. Она понимала, что каждое её слово, каждый жест будет записан и использован против её семьи.

— Ты ведь хочешь быть счастливой, Майя? — донесся до меня голос психолога.

— Мы просто хотим тебе помочь разобраться. Твои родители... они могут ошибаться. Это нормально.

«Родители могут ошибаться». Это был клин. Психолог вбивала клин между дочерью и родителями. Она разрушала самую важную связь в жизни ребенка, прикрываясь профессиональной этикой.

Я прошла мимо, опустив глаза. Я не вмешалась. Что я могла сказать? «Не слушай её»? Тогда психолог написала бы в отчете, что я тоже «под влиянием». Что я препятствую работе специалиста. Страх парализовал меня так же, как и остальных.

Вечером я нашла еще один документ. Это было письмо, где говорилось о том, как создается образ «сектанта». «Распространение стереотипов ведет к созданию негативного образа и в конечном счете — к нетерпимости». Ученые пытаются спорить. Социологи, религиоведы, правозащитники говорят: «Остановитесь! Вы используете лженауку! Нет никакого зомбирования!». Но их голоса тонут. Потому что тираж книг Дворкина огромен. Потому что его поддерживают телеканалы. Потому что страшилка про «зомби» продается лучше, чем сложная правда о свободе выбора.

Я посмотрела на свою дочь. Катя сидела в телефоне, здоровая, «нормальная». Но где гарантия, что завтра кто-то не решит, что её увлечение аниме или компьютерными играми — это тоже патология? Ведь критерии размыты. «Уход от реальности». «Изменение круга общения». «Специфический сленг». Всё это можно применить к любому подростку. И если завтра появится заказ на борьбу с геймерами или анимешниками, моя дочь тоже окажется в кабинете психолога с диагнозом «интернет-зависимость» или «деструктивное влияние японской культуры». И её тоже будут «лечить».

Карательная психиатрия — это не история про диссидентов в очках. Это история про то, что у нас нет защиты от произвола «нормы». Любой, кто выбивается из строя, рискует получить желтый билет. Только теперь он не бумажный. Он цифровой. Он заносится в базы данных. «Склонен к экстремизму». «Психологически нестабилен». «Жертва культа».

Я закрыла ноутбук. Мне казалось, что экран светится ядовитым, больничным светом. Мы живем в мире, где здоровье стало привилегией лояльных. Если ты лоялен большинству — ты здоров. Если нет — добро пожаловать в палату №6.

В сумке у меня лежал листок, который Катя принесла из школы. «Согласие на психологическое сопровождение». Я должна была подписать его. Раньше я бы сделала это не глядя. Психолог в школе — это же хорошо, правда? Теперь я смотрела на этот бланк как на ордер на обыск души. Я взяла ручку. Моя рука замерла. Я представила, как Анна Сергеевна с той же мягкой улыбкой будет спрашивать мою дочь: «А что мама говорит о власти? А в какую церковь вы ходите? А какие книги у вас дома?». И любой ответ может стать диагнозом.

Я разорвала бланк. Это был маленький, бессмысленный бунт. Он не спасет Майю. Машина уже запущена. Диагноз уже поставлен. Майя — «зомби». А зомби не имеют прав. Зомби не жалко. Зомби подлежат перепрошивке.

За окном выла сирена скорой помощи. Тревожный, тоскливый звук. Раньше он означал, что кто-то спешит на помощь. Теперь мне казалось, что это едет патруль санитаров леса, чтобы забрать тех, кто не вписывается в пейзаж. Я подошла к окну. Машина с мигалками пронеслась мимо, разрезая темноту синим лучом. Куда она едет? К кому? Может быть, к человеку, который посмел читать не те книги? Или к тому, кто посмел быть слишком умным? Или к маленькой девочке, которая просто хотела заниматься йогой, а оказалась врагом государства с диагнозом «инакомыслие»?

На столе осталась лежать распечатка с цитатой из методички для родителей: *«Если вы заметили изменения в поведении ребенка, немедленно обратитесь к специалистам. Возможна необходимость медикаментозной коррекции»*. Медикаментозная коррекция души. Фармакологическое смирение. Вот он, финальный аргумент в споре о свободе. Таблетка. И когда аргументы кончаются, начинается химия.

Глава 9: Давление

Бумажный лист весит около пяти граммов. Он легкий, почти невесомый. Если его уронить, он будет плавно планировать в воздухе, подчиняясь малейшему дуновению ветра. Но если на этом листе стоит гербовая печать и подпись чиновника, его вес меняется. Он становится тяжелее могильной плиты.

Он способен раздавить бизнес, который строился годами. Он может сломать хребет семье, которая казалась крепкой. Он может отнять ребенка у матери.

Мы перешли в новую фазу. Если раньше Майю и её семью убивали словами — шутками, мемами, бойкотом, — то теперь система перешла к действиям. Слова затвердели, превратились в протоколы, постановления и судебные иски. Наступила эра Административного Давления.

Это произошло в среду, в середине рабочей недели. Я шла мимо того самого клуба, который принадлежал родителям Майи. Обычно в это время через большие витринные окна было видно, как внутри идет жизнь: люди расстилают коврики, администратор улыбается за стойкой, в углу мерцает гирлянда. Это было светлое, теплое пятно на карте нашего района. Но сегодня окна были темными. На стеклянной двери висел белый лист формата А4. «Закрыто по техническим причинам». А рядом с входом стояла полицейская машина. Не с включенной сиреной, не в режиме погони. Она стояла спокойно, по-хозяйски, с выключенным двигателем. Двое сотрудников в форме курили у крыльца, лениво переговариваясь с человеком в штатском, который держал в руках пухлую папку.

В родительском чате, который стал для меня хроникой пикирующего бомбардировщика, уже царило оживление. *«Наконец-то! Я видела, как туда заходила проверка. Пожарные и еще кто-то».* *«Давно пора. Кто знает, чем они там на самом деле занимаются под видом йоги».* *«Мой муж сказал, что у них нашли нарушения в документах. Что-то с арендой или лицензией».*

Я читала эти сообщения и понимала: никто из них не знает правды. Им не нужна правда. Им нужно подтверждение того, что их иррациональный страх имеет законные основания. Если пришла полиция — значит, виноваты. У нас не приходят просто так. Эта аксиома, вбитая в подкорку поколений, работала безотказно.

Как именно слово «секта» превращается в полицейский рейд? Ведь в Уголовном кодексе нет статьи за «сектантство». Йога не запрещена. Вегетарианство не является административным правонарушением. Как же это работает?

Оказалось, что для уничтожения неудобных не нужны специальные законы. Достаточно старых, проверенных методов, адаптированных под новую

идеологию. Я наткнулась на интервью бывшего сотрудника РАЦИРС, который рассказывал о трансформации системы. В 2011 году были упразднены УБОПы — управления по борьбе с организованной преступностью. Знаменитые «убойные отделы», где работали жесткие оперативники, привыкшие иметь дело с бандитами. Этих людей, не умеющих работать тонко, перевели в новые структуры — Центры по борьбе с экстремизмом (Центры «Э»). И перед ними встала проблема: с кем бороться? Организованная преступность легализовалась или ушла в тень. Националисты, которые поначалу были главной целью, быстро «кончились» — кого-то посадили, кто-то затих. А отчетность требовалась. Система не может существовать без врага.

И тогда к ним, в отделения РАЦИРС, пришли люди из структур в поиске врагов государства. Сектантов. Оперативники спросили: «А где они живут? Кто их лидеры?» Им дали адреса. Им дали списки. Так произошла смычка. Силовики получили удобную мишень — безоружных, мирных людей, которых можно было оформить как экстремистов. А «сектоведы» получили силовую дубину, о которой всегда мечтали.

Я представила, как это происходило с клубом родителей Майи. Возможно, кто-то из «бдительных граждан» (может быть, даже кто-то из нашего чата) написал заявление. Или конкурент, которому приглянулось помещение. Или просто местному отделу нужно было показать бурную деятельность. Звонок «эксперту».

— Слушай, тут есть одни йоги. Можно их подтянуть под что-нибудь?

— Конечно. Пишите: деструктивный культ, восточные практики, психологическое насилие. Мы дадим справку.

И машина завертелась. Пожарная инспекция находит, что проход на пять сантиметров уже нормы. Санэпидемстанция находит пыль на вентиляторе. Налоговая блокирует счета из-за «подозрительной активности». Это называется «кошмарить бизнес». Но когда бизнес принадлежит «сектантам», это называется «защита духовной безопасности граждан».

Я нашла историю, которая идеально иллюстрировала этот коммерческий аспект ненависти. История центра «Рожана» и Жанны Цареградской. Это был успешный центр перинатального воспитания. Они учили женщин грудному

вскармливанию. Дело прибыльное, популярное. Но в какой-то момент они стали слишком заметны. И, как утверждала сама Цареградская, их успех совпал с выходом на рынок крупного конкурента. Что произошло дальше? В игру вступили «сектоведы». Началась массированная информационная атака. Центр помощи матерям объявили «сектой». Дворкин и его команда координировали кампанию в интернете. Итог: уголовные дела, аресты, тюрьма для мужа Жанны, разгром бизнеса. Конкурент получил рынок. «Борцы с сектами» получили доход и славу спасителей.

Я подумала о родителях Майи. Они не олигархи. У них маленький клуб. Но принцип тот же. Ярлык «секта» — это черная метка для бизнеса. Как только слух пошел, арендодатель начинает нервничать. Ему не нужны проблемы с полицией. Ему проще расторгнуть договор. Банк, увидев негативные публикации или запросы от органов, блокирует счета по 115-ФЗ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма). Попробуй докажи, что ты не финансируешь терроризм, когда про тебя в газете написано «тоталитарная секта». Поставщики отказываются отгружать товар. Клиенты, даже самые лояльные, начинают тихо исчезать. Никто не хочет, чтобы его имя было в базе данных «сектантов», которую, как говорят, собирают органы.

Это экономическое удушение. Оно происходит тихо, без выстрелов. Просто перекрывается кислород. Семья Майи сейчас теряла не просто доход. Она теряла почву под ногами. Они становились изгоями не только социально, но и экономически. А в современном мире человек без денег и без бизнеса — это человек без защиты.

Но самое страшное открытие ждало меня впереди. Бизнес — это деньги. Деньги можно заработать снова. Но есть вещи, которые нельзя вернуть. Я наткнулась на статью с заголовком, от которого повеяло могильным холодом: «РАЦИРС по вызову, или как Дворкин отобрал у матери ребёнка».

Это была история Елены из Перми. Обычная, казалось бы, семейная драма. Развод. Дележ имущества и детей. Муж, Александр, обеспеченный и влиятельный человек. Жена, Елена, домохозяйка. Муж был деспотом. По словам самой Елены, в семье было насилие. Она ушла, забрала детей, переехала в Москву. И тогда муж нанял «сектоведов». Елена работала в компании Herbalife.

Сетевой маркетинг, продажа БАДов. Можно относиться к этому скептически, но называть это религиозной сектой — абсурд. Однако для Александра Дворкина и его организации РАЦИРС невозможного нет, если есть заказчик.

Я читала подробности, и волосы шевелились на голове. Это был настоящий сервис. «Сектоведение под ключ». Муж обратился к адвокату Александру Корелову, члену РАЦИРС. Тот связался с Дворкиным. Была разработана стратегия. Специально для суда было написано «экспертное заключение». В нем Herbalife объявлялся опаснейшей тоталитарной сектой, а Елена — зомбированным адептом, опасным для собственных детей. Дворкин лично отвечал на адвокатские запросы. Его ученики готовили бумаги. В суд были представлены материалы их собственных конференций как «научные доказательства».

И суд поверил. Потому что перед судьей лежал документ с подписью человека, который воспринимался как «главный специалист». А с другой стороны была просто женщина, которую муж годами унижал. Итог: у матери отобрали сына. Мальчика Костю, 12 лет, отец тайно вывез в Пермь. Елена не видела его год. Она не знала, где он. Она жила в страхе, что отберут и дочь.

Я представила себя на месте Елены. Представьте: к вам приходят люди в форме и забирают вашего ребенка, потому что какой-то бородатый мужчина в Москве написал справку, что вы неправильно верите или неправильно работаете. И вы ничего не можете сделать. Ваши слезы — это «истерика сектантки». Ваша попытка защитить ребенка — это «агрессия фанатички». Ваша любовь — это «психологическое насилие».

Это был прецедент. Это означало, что любой человек, обладающий деньгами и связями, может нанять РАЦИРС как частную инквизицию. «Можно их нанять, они приедут, расскажут, как действовать, состряпают документы, выступят на суде свидетелями — всё это за определённую плату». Это цитата из расследования. Бизнес на разрушении семей.

Я вернулась к реальности, к нашему школьному чату. Там обсуждали не бизнес родителей Майи. Там обсуждали Майю. *«Надо писать в опеку. Девочка выглядит подавленной».* *«Я слышала, что в таких семьях детей заставляют*

голодать. Это же веганы». «Точно. И спать не дают. Молитвы читают по ночам». «Мы обязаны сигнализировать. Ради ребенка».

Они использовали ту же риторику, что и муж Елены Брессем. «Ради ребенка». Я поняла, что над семьей Майи нависла угроза страшнее разорения. Опека. Ювенальная юстиция в руках идеологов — это гильотина. В методичках антикультистов прописано: дети в сектах — это жертвы. Их нужно «спасать». Спасение выглядит так: изъятие из семьи, помещение в приют, а затем — передача «нормальным» родственникам или в приемную семью. Главное — вырвать из среды.

Я вспомнила статью «Одна жизнь из миллионов». Там описывалось состояние родителей, живущих под этим дамокловым мечом. «Страх за своих детей стал главной и постоянной заботой родителей. Именно этот страх больше всего ломал несчастных родителей... заставляя их держаться как можно дольше». Представьте, что вы каждый раз вздрагиваете от звонка в дверь. Вы проверяете, есть ли еда в холодильнике (вдруг проверка?). Вы проверяете, нет ли синяков у ребенка (вдруг скажут, что вы его бьете?). Вы боитесь отпускать ребенка в школу, потому что оттуда его могут забрать прямо с урока, не предупредив вас.

В школе Майя стала еще тише. Она, казалось, пыталась стать невидимой. Она знала. Я уверена, она знала, что происходит. Дети слышат разговоры родителей на кухне. Она знала, что папин бизнес закрыт. Она знала, что мама плачет по ночам. И она знала, что причина всех бед — это ярлык, который на них наклеили. Она чувствовала вину. Дети всегда берут вину на себя. «Это из-за меня. Если бы я была нормальной, папу бы не трогали».

Я видела, как работает механизм «самосбывающегося пророчества». Давление на семью нарастало. Родители становились нервными, замкнутыми. Возможно, они действительно стали строже контролировать Майю — из страха за неё. И общество видело в этом подтверждение своих догадок. «Смотрите, какие они дерганные! Точно сектанты». «Смотрите, они ни с кем не общаются! Изолируются». Агрессия извне порождала защитную реакцию, которая трактовалась как агрессия изнутри.

Я нашла информацию о том, как в таких ситуациях используются «агенты». В статье «Экспертиза как инструмент террора» описывалась схема внедрения. «Стукачи». Люди, которые втираются в доверие, собирают информацию, а потом пишут доносы. Или соседи. В нацистской Германии гестапо не справилось бы без помощи населения. 80% дел начинались с доносов обычных граждан. «Мой сосед слушает вражеское радио». «Мой сосед странно молится».

В нашем случае роль агентов выполняли родители одноклассников. Кто-то сфотографировал машину отца Майи. Кто-то узнал, где они живут. Кто-то «пробил» информацию о долгах фирмы. Вся эта информация стекалась в чат, а оттуда, я уверена, уходила куда-то выше. К тем самым людям в погонах, которым нужны «палки» в отчетах.

Я чувствовала бессилие. Что я могу сделать против этой машины? Написать пост в Фейсбуке? Его завалят комментариями боты и «православные активисты». Выйти с пикетом? Меня заберут через пять минут. Попытаться поговорить с родителями в чате? Я уже пробовала. Это стена.

Я поняла, что чувствует человек, попавший в жернова. Одиночество. Ты один против Левиафана. У Левиафана есть суды, полиция, телевидение, «эксперты», общественное мнение. У тебя есть только твоя правда, которая никому не нужна.

В пятницу я увидела сцену, которая стала для меня символом этого этапа. Я забирала Катю. Мы вышли из школьных ворот. На парковке стояла машина отца Майи. Старенький седан, не тот серебристый кроссовер, что был раньше. Видимо, ту машину пришлось продать. Отец Майи стоял у открытой двери. Он постарел за этот месяц на десять лет. Плечи опущены, в волосах седина. К нему подошел какой-то человек. Не в форме. В обычной куртке. Он не кричал. Он не размахивал руками. Он просто что-то говорил, наклонившись к лицу отца Майи. Тихо, вкрадчиво. Я видела, как отец Майи побледнел. Как его руки сжались в кулаки, а потом бессильно разжались. Человек похлопал его по плечу — жест, в котором было больше угрозы, чем в ударе, — и отошел. Отец Майи сел в машину. Он сидел неподвижно несколько минут, глядя перед собой невидящим взглядом. Потом положил голову на руль.

Я не слышала слов. Но я знала, о чем шла речь. Это был «дружеский совет». «Уезжайте. Продавайте всё за копейки и валите. Иначе мы займемся дочерью всерьез». Это был классический метод рейдерства, помноженный на идеологию. Им не нужно было убивать их. Им нужно было, чтобы они исчезли. Чтобы «очистили территорию».

Вечером в новостях местного канала прошел сюжет. «В нашем городе пресечена деятельность деструктивной организации, маскировавшейся под спортивный клуб». На экране мелькали кадры оперативной съемки: люди в масках врываются в зал, испуганные посетители, разбросанные коврики. Голос за кадром, тревожный и обличительный, рассказывал о том, что здесь «обрабатывали сознание», «выкачивали деньги» и «разрушали семьи». В качестве эксперта выступал человек, которого я видела на фото с конференции FECRIS. Он говорил уверенно, сыпал терминами: «психокульт», «вербовка», «угроза национальной безопасности».

Ни слова о том, что суд еще не состоялся. Ни слова о презумпции невиновности. Приговор был вынесен в эфире. Для миллионов зрителей родители Майи стали преступниками. Для соседей они стали врагами. Для Майи это означало конец любой надежды на нормальную жизнь в этом городе.

Я выключила телевизор. Экран погас, но ядовитый туман лжи уже заполнил комнату. Я посмотрела на Катю. Она делала уроки, подпевая чему-то в наушниках. Она не видела сюжет. Но завтра в школе ей расскажут. Завтра Майя придет в класс, и на неё будут смотреть не как на смешную чудачку, а как на дочь уголовников.

Я подошла к окну. На улице шел дождь. Где-то там, в темноте, отец Майи, наверное, сейчас обсуждает с женой то, что ему сказал человек на парковке. Они считают деньги. Они смотрят на спящую дочь. И они понимают, что проиграли.

На столе у меня лежал распечатанный документ. Это была выписка из ЕГРЮЛ. Статус компании отца Майи: «Находится в стадии ликвидации». Дата: вчерашняя. Это был не просто юридический статус. Это была эпитафия их прошлой жизни. Система сработала четко. Слово → Ярлык → Насмешка → Отчуждение → Давление. Следующий этап — Исчезновение. Но перед этим будет еще кое-что. Я знала, что давление на этом не остановится. Потому что

машина, набравшая ход, не умеет тормозить. Ей нужно топливо. И топливом служат человеческие судьбы.

Я вспомнила фразу из статьи про инквизицию Дворкина: «В итоге под репрессии попали самые приближённые к царю люди... История имеет свойство повторяться». Те, кто сейчас травит Майю, думают, что они в безопасности. Что они — охотники. Они не понимают, что в этой пищевой цепочке они — просто следующие в очереди. Механизм отлажен. «Эксперты» готовы. Бланки доносов напечатаны.

Но сейчас, в эту минуту, мне было не до философских обобщений. Я думала о конкретной девочке, которая завтра утром должна будет встать, надеть школьную форму и пойти туда, где её ненавидят. И я думала о её родителях, которые поняли, что закон их не защитит. Потому что закон в руках тех, кто умеет жонглировать словами. И самое страшное слово в их словаре — это «забота». Под маской заботы о детях совершаются самые подлые преступления.

Я взяла телефон. Хотела написать в чат: «Люди, опомнитесь! Вы же видите, что это рейдерство!». Но я не написала. Я положила телефон экраном вниз. Я тоже была частью этой системы. Системы молчаливого согласия. И мой страх был тем самым маслом, которое смазывало шестеренки машины уничтожения.

Глава 10: Алтарь

Я всегда думала, что церковь — это место, где время течет иначе. Что за толстыми стенами, пахнущими ладаном и пчелиным воском, мирская суета отступает, а законы ненависти, царящие в школьных чатах и полицейских участках, теряют свою силу. Мне казалось, что алтарь — это последняя линия обороны человечности, зона, свободная от государства, от политики, от злобы дня. Как же я ошибалась.

После того как я увидела полицейскую машину у закрытого клуба родителей Майи, мне захотелось найти хоть какую-то точку опоры. Я зашла в небольшой храм недалеко от нашего дома. Было тихо, горели свечи, с икон смотрели спокойные лики. Я хотела просто постоять в тишине, может быть,

поставить свечку — не за «здравие» или «упокой», а просто как знак того, что я не согласна с происходящим мраком. Но мой взгляд упал на столик с бесплатной литературой в притворе. Среди расписаний богослужений и просьб о пожертвованиях лежала стопка листовок. На обложке был изображен перечеркнутый силуэт человека в позе лотоса, а заголовок, набранный тревожным красным шрифтом, гласил: «Духовная безопасность: как распознать врага».

Я взяла листовку. Текст был мне знаком. Те же фразы, что и в методичках Дворкина, те же обороты, что и в речах «экспертов» по телевизору. Но здесь, под сводами храма, они звучали иначе. Они звучали не как мнение частного лица, а как воля Неба. «Враги веры», «духовная интервенция», «сатанинские практики». Я поняла, что церковь не была убежищем. Она была штабом. И, возможно, именно здесь, а не в кабинетах чиновников, генерировалась та энергия абсолютной правоты, которая позволяла нашим соседям травить ребенка с чистой совестью.

Вернувшись домой, я отодвинула в сторону юридические документы и начала искать ответы в другой плоскости. Мне нужно было понять, как институт, проповедующий «возлюби ближнего своего», превратился в механизм сегрегации. Как получилось, что люди, называющие себя христианами, с таким энтузиазмом участвуют в охоте на ведьм. То, что я нашла, заставило меня пересмотреть не только ситуацию с Майей, но и всю историю страны, в которой я живу.

Мы привыкли думать, что гонения на веру закончились с распадом СССР. Что церковь возродилась, очистилась и стала независимой. Но архивы, которые приоткрылись в 90-е годы, а потом снова захлопнулись, рассказывали другую историю. Я читала материалы комиссии Верховного Совета, в которую входил священник-диссидент Глеб Якунин. Он был одним из тех, кто осмелился заглянуть в «святая святых» советской госбезопасности — в архивы 4-го отдела 5-го управления КГБ.

В документах не было имен, только клички. «Аббат», «Адамант», «Антонов», «Скала», «Алтарь». За этими псевдонимами скрывались не рядовые прихожане, которых заставили стучать под пытками. За ними скрывались

высшие иерархи. Люди, которые носили панагии, благословляли народ и совершали таинства.

Кураторы из КГБ писали о своих подопечных в рясах как об эффективных сотрудниках. «Агент “Аббат” проявил инициативу...» «Агент “Скала” успешно выполнил задание...»

Меня поразила информация из донесения 1983 года. В Ванкувер, на Генеральную ассамблею Всемирного совета церквей, из СССР поехала делегация. 120 человек. Из них 47 были агентами КГБ. Почти половина. Представьте себе этот «духовный десант». Они едут на международный форум не для того, чтобы обсуждать богословие, а для того, чтобы продвигать интересы советской разведки. Их задачей было не свидетельствовать о Христе, а протащить на пост генсека Совета «нужного» кандидата. И они это сделали.

Я сидела перед экраном и думала: если тогда, сорок лет назад, церковь была филиалом спецслужб, то что изменилось сейчас? Куда делись эти агенты после 1991 года? Они не улетели на Марс. Они не покались публично (за редчайшим исключением, вроде переводчика «Арамиса» из Отдела внешних церковных связей). Они остались на своих кафедрах. Они продолжили рукополагать новых священников. Они сохранили свои связи с «конторой», которая просто сменила вывеску с КГБ на ФСБ.

Это объясняло всё. Это объясняло, почему борьба с «сектами» ведется с такой армейской дисциплиной. Родители Майи, со своим маленьким його-клубом, столкнулись не с религиозной полемикой. Они столкнулись с системой, которая видит в любой независимой духовности угрозу национальной безопасности. Для человека в погонах (даже если эти погоны скрыты под рясой) не существует понятия «иной путь к Богу». Существует понятие «оперативная обстановка». И любой, кто не ходит строем, эту обстановку дестабилизирует.

Я углубилась в изучение современной структуры, которая связывает церковь и государство в единый карательный узел. Имя этой структуры мне уже встречалось — РАЦИРС. Российская ассоциация центров изучения религий и сект. Раньше я думала, что это просто группа энтузиастов-общественников. Но теперь, сопоставляя факты, я видела контуры чего-то гораздо более зловещего. Бывший сотрудник этой организации, Валерий Отставных, в своем интервью

назвал вещи своими именами. Он сравнил РАЦИРС со службой собственной безопасности (УСБ) внутри церкви. Это была полиция нравов. Инквизиция, переведенная на аутсорсинг.

Парадокс заключался в том, что эта организация, формально общественная, обладала властью, которой позавидовали бы министерства. Александр Дворкин, не имея ни сана, ни профильного научного образования, признаваемого ВАК, фактически диктовал повестку огромной церковной машине. Как такое возможно? Ответ крылся в личных связях. Я узнала, что министр юстиции Александр Коновалов учился у Дворкина. Они были связаны одной идеологией, одной «альма-матер». Именно так был создан Экспертный совет при Минюсте. Совет, который получил право решать, какая вера «правильная», а какая — «экстремистская».

Это был идеальный замкнутый цикл. Дворкин пишет книгу, где называет кого-то сектантом. Его ученик-министр создает совет, куда включает Дворкина. Совет проводит «экспертизу» на основе книги Дворкина. Суд принимает решение на основе экспертизы. Полиция идет закрывать клуб родителей Майи. И всё это — под благословение церкви, которая устраняет конкурентов руками государства.

Я нашла информацию о том, как в 1994–1995 годах патриархия заключила договоры о сотрудничестве с силовыми ведомствами. С Минобороны, с МВД, с погранвойсками и даже с ФАПСИ (правительственной связью). Зачем церкви правительственная спецсвязь? Зачем монахам «вертушки»? Ответ был циничен и прост: церковь встраивалась в вертикаль власти как идеологический департамент. Ей нужны были не души. Ей нужны были ресурсы, влияние и монополия.

В одной из статей про РПЦ я наткнулась на экономический аспект этой монополии. АОЗТ «Артгемма». 1994 год. Церковная фирма получает от государства алмазы на 6 миллионов долларов для огранки и сбыта. Церковь превратилась в гигантский офшор. Беспощадный ввоз сигарет, торговля нефтью, алмазы. Это была корпорация. И как любая корпорация, она безжалостно уничтожала конкурентов. Йога-клуб Майиных родителей не угрожал «духовности». Он угрожал рынку. Если человек идет на йогу, он не несет деньги в свечную лавку. Если человек ищет ответы в медитации, он не

платит за требу. Это был бизнес-конфликт, замаскированный под священную войну.

Но самым страшным было не это. Бизнес есть бизнес, там свои волчьи законы. Страшнее было то, что происходило с душами самих верующих. Я нашла текст «Молитвы о победе», которую обязали читать во всех храмах. «...победу русскому оружию даруй...» Это был документ, который окончательно разрывал связь церкви с Евангелием. Христос говорил: «Блаженны миротворцы». Церковное начальство говорило: «Блаженны стреляющие». Священников, которые осмеливались заменить слово «победа» на слово «мир», лишали сана. Их выбрасывали на улицу, запрещали служить. Это была чистка. Система избавлялась от тех, кто сохранил совесть, оставляя только тех, кто готов был маршировать.

Я поняла, почему в нашем школьном чате родители, считающие себя православными, так легко желали зла Майе. Им разрешили. Более того, им объяснили, что ненависть — это добродетель. Если церковь благословляет ракеты, то почему она не может благословить травлю одной девочки? Это ведь тоже «малая война». Война за чистоту рядов.

Я вспомнила слова Константина Харчева, председателя Совета по делам религий в позднем СССР: *«Мы 70 лет боролись с церковью. В частности, мы заботились о том, чтобы на наиболее значимые должности были назначены наиболее аморальные и растлѐнные люди. А вот теперь мы хотим, чтобы они нам устроили духовное возрождение»*. Эта фраза звучала как приговор. Мы ждали возрождения от тех, кого специально отбирали по критерию подлости. Мы ждали любви от тех, кто был обучен писать доносы. И теперь эти люди учили нас и наших детей, что такое «добро».

Я смотрела на фотографию Дворкина и его соратников на встрече с силовиками. Они сидели за одним столом. Там, за этим столом, решалась судьба не только «сект». Там решалась судьба гражданского общества. Центры «Э» (по борьбе с экстремизмом), созданные на базе расформированных УБОПов, нуждались в работе. Бандитов стало меньше, а штат остался. И «сектоведы» дали им работу. Они принесли им списки. «Вот эти — кришнаиты. Эти — пятидесятники. Эти — йоги. Фас». И оперативники, не разбираясь в тонкостях

теологии, начали работать так, как умели: вламываться, класть лицом в пол, изымать литературу, шить дела.

Я нашла историю о том, как в Рязани представители РАЦИРС выступали перед курсантами МВД. Они учили будущих полицейских, что враг хитер. Что он маскируется под «культурные центры», «курсы английского», «клубы здорового образа жизни». Они вкладывали в головы молодых парней с дубинками простую мысль: всё, что не РПЦ — это подозрительно. Всё, что непонятно — это опасно. И когда эти парни выходили на улицы, они видели в Майе и её родителях не граждан, чьи права они должны защищать, а замаскированных диверсантов.

Это была индоктринация силовиков. Именно поэтому, когда отец Майи пытался подать жалобу на незаконные проверки, его заявление терялось. Или ему прямо говорили: «Не рыпайся, хуже будет». Потому что на том конце провода сидел человек, который вчера слушал лекцию о «духовной безопасности» и верил, что, закрывая дело, он спасает Россию.

Я думала о том, как это влияет на саму веру. В одной статье я прочитал слова протоиерея Дмитрия Смирнова. Он, выступая на конференции, открыто призывал к насилию, использовал язык вражды, который не снился даже уличным хулиганам. И никто его не одергивал. Наоборот, ему аплодировали. Церковь стала местом, где легализуется агрессия. Если ты ненавидишь «либералов», «сектантов», «западников» — ты хороший прихожанин. Ты патриот.

Я вспомнила историческую параллель с «Немецкими христианами» времен Третьего рейха. Они тоже выбросили из Библии всё «еврейское». Они поставили свастику рядом с крестом. Они объявили Гитлера новым мессией. И они тоже боролись с «сектами». Свидетели Иеговы в Германии были одними из первых, кого отправили в концлагеря. Потому что они отказывались говорить «Хайль Гитлер». Тоталитарная система не терпит конкуренции в лояльности. Ты должен быть предан только Вождю и Партии (или Церкви, которая слилась с Партией). Любая другая лояльность — Богу, совести, принципам — рассматривается как измена.

Майя и её семья были виноваты не в том, что они делали что-то плохое. Они были виноваты в том, что они были *автономны*. У них были свои ценности, свои авторитеты, свой круг общения. Они не зависели от телевизора и проповеди. И именно эта автономия бесила систему больше всего. «Как вы смеее быть счастливыми и спокойными без нашего разрешения?»

Вечером я снова прошла мимо храма. Служба закончилась, люди выходили на улицу. Я вглядывалась в их лица. Обычные, усталые лица. Женщины в платочках, мужчины в куртках. Понимали ли они, что, жертвуя на храм, они, возможно, оплачивают очередную конференцию, где их соседей объявят «биомусором»? Скорее всего, нет. Они просто верили. И эта слепая, нерассуждающая вера была самым страшным ресурсом в руках манипуляторов.

Я вспомнила фразу из Евангелия: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Это время наступило. Оно пришло в наш город не с громом небесным, а с тихим шелестом бумаг на столе экспертного совета. Оно пришло с полицейским протоколом, составленным по наводке «православного активиста». Оно пришло с молчанием священников, которые видели неправду, но боялись потерять приход.

Я вернулась домой и посмотрела на икону, которая стояла у меня на полке. Старая, бабушкина икона. Мне захотелось перевернуть её лицом к стене. Потому что я чувствовала: Те, кто сейчас говорит от имени Того, кто на ней изображен, предали Его. Они превратили Его дом в вертеп разбойников. В штаб чекистов. В канцелярию инквизиции.

На столе лежал распечатанный документ — список «деструктивных организаций», составленный РАЦИРС. В этом списке были десятки названий. Йога, психологические тренинги, педагогические системы. Тысячи людей. И напротив каждого названия незримо стояла печать: «Уничтожить». Не потому, что они опасны. А потому, что они — чужие. Алтарь Единой Идеологии требовал жертв. И Майя была лишь одной из многих, кого положили на этот камень.

Глава 11: Насилие

Насилие всегда кажется чем-то далеким, пока оно не касается твоего плеча. Мы привыкли думать, что оно живет в криминальных сводках, в новостях из горячих точек или в страшных фильмах, которые мы смотрим, плотно задернув шторы. Нам кажется, что между нашим уютным, понятным миром школьных чатов и кровавым хаосом существует непробиваемая стена. Но последние дни показали мне, что этой стены нет. Есть только тонкая, прозрачная пленка, которая рвется от одного неосторожного движения. Или от одного слова.

Я сидела на кухне, и экран телефона светился в полумраке. Я вдруг поняла, что мы ходим по краю вулкана. Мы травим девочку. Мы называем её «зомби». Мы говорим, что её семья — это опухоль на теле района. А что, если кто-то воспримет эти метафоры буквально? Что, если для кого-то из подростков, чья психика и так расшатана гормонами и стрессом, наши слова станут командой «фас»?

Я начала изучать феномен насилия в школах. Не как родитель, который боится за своего ребенка, а как исследователь, пытающийся понять механику взрыва. Термин «скулшутинг» (стрельба в школах) стал для нас привычным, как слово «инфляция». Мы ужасаемся, ставим свечки на аватарки, требуем усилить охрану. Но мы никогда не задаем главный вопрос: кто вкладывает оружие в руки детей? Не физическое оружие. Психологическое.

Я нашла материалы, описывающие механизм, который эксперты называют «пазловым» воздействием. Это технология. Представьте, что мозг собирает пазл из отдельных кусочков информации. Например, кусочек первый: из статьи в популярном паблике. Кусочек второй: из новости о том, что очередной стрелок стал мировой знаменитостью. Его имя во всех заголовках. Его лицо на всех экранах. Кусочек третий: из видео или комментария в ТикТоке или чате определенной группы...

По отдельности эти фрагменты кажутся безопасными. Но когда они соединяются в голове подростка, происходит замыкание. Складывается картинка.

Я читала о том, как освещалась Олимпиада в Париже. Казалось бы, праздник спорта. Но медиапространство взорвал образ турецкого стрелка, завоевавшего серебро. Его не хвалили как спортсмена. Его сравнивали с киллером. «Батя на задании». «Вайб наемного убийцы». «Ультрашикарный убийца из киберпанк-фильма». Миллионы лайков. Восхищение. Что считывает подсознание подростка? Быть убийцей — это круто. Это стильно. Это приносит славу. Никто не восхищался золотым медалистом так, как восхищались образом человека, который выглядит так, будто пришел убивать. Это и есть та самая «вкладка», тот самый вирус, который внедряется в мозг.

Я посмотрела на своего племянника, который часто заходит к нам. Ему пятнадцать. Он играет в шутеры, смотрит стримы. Он нормальный парень. Но статистика, которую я нашла, леденила кровь. 63% школьных стрелков были из благополучных семей. 44% занимались спортом, ходили в кружки. Они не были маргиналами. Они были такими же, как наши дети. Просто в какой-то момент количество «вкладок» достигло критической массы.

Я наткнулась на анализ дневников Эрика Харриса и Дилана Клеболда, устроивших бойню в «Колумбайне». Они не считали себя преступниками. Они считали себя богами. «Я — бог», — писал один из них. Откуда берется это чувство? Оно берется из искусственно созданного раздвоения личности. Медиа и массовая культура внушают ребенку: есть ты — обычный, слабый, зависимый. И есть твой «внутренний герой», твой антипод — сильный, жестокий, карающий. Чтобы стать этим героем, нужно переступить черту. Нужно забрать чью-то жизнь.

Я вспомнила, как в нашем чате одна мама написала про Майю: «Она заразная. Надо очистить класс». «Очистить». Это слово — триггер. Для взрослого это метафора. Для подростка, который ищет способ утвердиться, это может стать инструкцией. Если Майя — «зараза», «зомби», «нелюдь» (как нас научили «эксперты»), то её устранение — это не убийство. Это санитарная обработка. Это подвиг.

Я нашла пугающую информацию о том, как СМИ превращают трагедии в инструкции. Статьи о скулшутинге часто содержат детальное описание: какое оружие использовалось, как стрелок заходил в школу, сколько времени у него было. «У вас есть 12–15 минут до приезда полиции». Это не новость. Это

тайминг. Это методичка для подражателей. Журналисты, гонясь за сенсацией, фактически обучают следующих убийц. Они показывают: вот так ты можешь стать знаменитым. Вот твой путь к бессмертию.

В нашем городе пока не стреляли. Но атмосфера была наэлектризована так, что волосы вставали дыбом. Я видела, как изменились взгляды старшеклассников. В них появилась какая-то злая веселость. Они обсуждали Майю уже не как смешную чудачку. Они обсуждали её как врага.

— Слышал, у них в клубе нашли какую-то запрещенку? — громко говорил парень в раздевалке, когда я ждала Катю.

— Реально, террористы какие-то. — Да их валить надо, пока они нас не взорвали, — ответил другой. И засмеялся. Смех. Опять этот смех. Смех, который снимает барьеры. Если можно смеяться над идеей убийства, значит, идея уже поселилась в голове.

Я вспомнила статью, там говорилось о том, что перед реальной стрельбой часто наблюдается всплеск агрессии в регионе. Уличные драки, нападения на бездомных, жестокость к животным. Это как круги на воде. Информационное поле заражено насилием, и самые слабые, самые внушаемые начинают действовать. Кто-то пнет собаку. Кто-то разобьет витрину. А кто-то принесет в школу нож.

Я поняла, что Майе невероятно, чудовищно повезло. Повезло, что в нашем классе не оказалось того самого «активированного» подростка, у которого пазл сложился бы окончательно. Повезло, что агрессия пока выливалась только в бойкот и административное давление. Но это было везение сапера, который прошел по минному полю и не наступил на взрыватель. Поле от этого не стало безопасным.

Я читала о случаях, когда антикультовая истерия приводила к реальной крови. Чехия. Движение, направленное против религиозных меньшинств, создало такую атмосферу ненависти, что люди боялись выходить на улицу. Практика «депрограммирования» — насильственного похищения верующих для «лечения» — это ведь тоже форма террора. Людей хватали, запирали, лишали сна и еды. Их ломали психологически и физически. И всё это — под лозунгами защиты. «Мы спасаем их от секты». Маньяк, который убивает, тоже

часто думает, что он спасает мир от скверны. Антикультисты дали маньякам идеологическое обоснование.

Вечером я наткнулась на еще один аспект этой проблемы. Биполярное расстройство. В статьях говорилось, что многие стрелки страдали от резких перепадов настроения, от депрессии, сменяющейся эйфорией. И что это состояние часто провоцируется именно информационным перегрузом. Противоречивые сигналы. Этот когнитивный диссонанс разрывает психику. А тут еще и «образ врага». Вот он, готовый рецепт коктейля Молотова в голове ребенка.

Я смотрела на Катю. Она сидела в телефоне, листала ленту. Что она там видит? Может быть, прямо сейчас ей попадается ролик с героизацией очередного убийцы? Или мем, высмеивающий жертв? Или пост «эксперта», призывающий к расправе над «внутренними врагами»? Я не могу контролировать этот поток. Он вездесущ. Он как радиация. Мы думаем, что воспитываем детей мы. Но их воспитывает алгоритм рекомендаций и информационный шум, созданный профессиональными манипуляторами.

Я вспомнила фразу из документального фильма: «Скулшутинг — это террористический акт». Это не просто срыв одиночки. Это результат системной работы. Кто-то создает контент. Кто-то его продвигает. Кто-то назначает цели. Антикультисты, кричащие о «тоталитарных сектах», фактически маркируют цели лазерной указкой. «Вот они. Они опасны. Они хотят захватить мир.»

Мне стало страшно выходить на улицу. Не за себя. За всех нас. Мы живем в обществе, где слово потеряло свою ценность, но приобрело убойную силу. Мы бросаемся словами «убить», «расстрелять», «уничтожить» в комментариях, не думая о последствиях. Но слова не исчезают. Они накапливаются. Они создают фон. Фон, на котором насилие становится нормой.

Я нашла статистику: в странах, где СМИ не смакуют подробности расстрелов, где не называют имен убийц, где не делают из них звезд — там скулшутинга практически нет. Значит, это лечится. Значит, это не неизбежность. Это рукотворная эпидемия. И мы, родители из чата 10 «Б», — разносчики этой инфекции. Когда мы пересылаем друг другу страшилки про

«сектантов», мы повышаем градус ненависти. Мы снижаем порог чувствительности к насилию.

Вчера в школе произошел инцидент. Мелкий, казалось бы. Один из парней, тот самый, что громче всех смеялся над Майей, принес в школу пневматический пистолет. Он не стрелял. Он просто показывал его друзьям на перемене. «Смотри, какая волына. Как у того чела из игры». Учителя отобрали, вызвали родителей. Скандал замяли. Но я видела глаза этого парня. В них не было раскаяния. В них был азарт. Он чувствовал себя крутым. Он прикоснулся к силе. И я подумала: а если бы он не просто хвастался? А если бы он решил «попугать» Майю? Грань между «попугать» и «выстрелить» стирается очень быстро, когда в руке тяжесть металла, а в голове — каша из величия и ненависти.

Я поняла, что мы подошли к черте. Дальше — только кровь. Схема «Римской формулы» работает безупречно. Слово (сектантка) → Ярлык (враг) → Насмешка (мемы) → Отчуждение (бойкот) → Давление (полиция) → ... Следующий шаг — физическое устранение.

Механизм один и тот же. Меняются только декорации и орудия. Суть остается прежней: группа людей объявляется «лишней», и общество дает молчаливое (или громкое) согласие на насилие над ними.

Я сидела и думала о том, как хрупок человеческий мир. Мы строим планы, покупаем квартиры, выбираем вузы для детей. А где-то рядом работает конвейер по производству смерти. И этот конвейер обслуживают не монстры с рогами. Его обслуживают журналисты, пишущие хайповые статьи. Блогеры, снимающие «прикольные» ролики. «Эксперты», выдумывающие врагов. И мы, обыватели, потребляющие этот контент. В тот вечер я не могла уснуть.

Утром я увидела Майю. Она была жива. Цела. Она шла в школу, опустив голову, привычно сжимаясь от ожидаемых насмешек. Она не знала, что мимо неё только что пролетела пуля. Невидимая, ментальная пуля, которая могла материализоваться в любой момент. Ей повезло. На этот раз система дала сбой. Или, может быть, просто еще не накопила достаточного потенциала в конкретно этой точке пространства. Но угроза никуда не делась. Она висела в воздухе, как запах газа перед взрывом.

Я посмотрела на школу. Типовое здание, забор, охранник с кроссвордом. Раньше это место казалось мне крепостью знаний. Теперь оно казалось мне полигоном. Полигоном, где испытывают новое оружие массового поражения — информационный вирус, превращающий детей в палачей. И противоядия у нас не было. Потому что те, кто должен был создавать противоядие — учителя, психологи, священники, — сами были заражены. Они сами учили детей ненавидеть «неправильных».

Я достала телефон и удалила из закладок все новостные сайты. Это был жест отчаяния. Страус, прячущий голову в песок. Но я больше не могла смотреть на заголовки. В каждом из них я видела приговор. Не Майе. Нам всем. Потому что общество, которое позволяет убивать словом, рано или поздно начнет убивать делом. И остановить этот процесс, когда он перешел в фазу насилия, уже невозможно. Можно только бежать. Или молиться, чтобы на этот раз пронесло.

В кармане завибрировал телефон. В родительском чате кто-то переслал видео. Не про Майю. Просто «прикол». На видео подростки избивали манекен, на который наклеили фотографию какого-то персонажа. Они смеялись, улюлюкали, били битами. Подпись под видео: *«Тренировка перед зачетом»*. И смайлики. Смеющиеся до слез смайлики. Родители ставили лайки. *«Молодцы мальчишки, спорт — это жизнь!»* — написала мама старосты.

Я смотрела на эти лайки и понимала: они не видят. Они видят спорт. Я вижу репетицию. Манекен сегодня. Завтра — живой человек. Тот, кого назначат «манекеном». Майя. Или кто-то другой. Неважно кто. Важно, что навык бить без жалости уже сформирован. И он получил социальное одобрение в виде сердечек в чате.

Это был конец. Не конец истории, но конец иллюзий. Мы не были зрителями в театре. Мы были соучастниками подготовки преступления. И единственное, что отделяло нас от трагедии — это слепой случай. Случай, который сегодня был на стороне Майи. Но завтра он может отвернуться. И тогда никакие «эксперты» не помогут нам объяснить, почему наши дети вдруг стали убийцами. Хотя ответ был прямо перед нами. В зеркале. И в экране смартфона, где мы только что поставили лайк под видео с насилием.

Глава 12: Исчезновение

Утро понедельника началось не со звонка, а с пустоты. Это была особенная, зияющая пустота за третьей партой в среднем ряду. Там, где еще в пятницу лежали учебники, пенал с наклейками и тот самый брелок-авокадо, теперь была идеально чистая, противостоительно гладкая поверхность. Никто не задал вопроса. Никто не спросил: «Где Майя?» Класс, этот чуткий социальный организм, коллективным нутром почувствовал: произошло то, что должно было произойти. Иностранное тело отторгнуто. Операция завершена.

Учительница, Марья Ивановна, вошла в класс с выражением лица человека, у которого наконец-то прошла зубная боль. Она небрежно бросила журнал на стол и, не глядя на пустую парту, сказала ровным, будничным тоном: — Ребята, Майя больше не учится в нашей школе. Семья переехала в другой регион. Давайте начнем урок. Тема сегодня...

«Переехала». Какое удобное, гладкое, безопасное слово. В нем слышится шелест упаковочной бумаги, звон ключей от новой квартиры, хлопоты новоселья. Слово «переезд» предполагает план, выбор, будущее. Но я знала, что это ложь. Это был не переезд. Это было бегство. Эвакуация. Исчезновение.

Вечером предыдущего дня я видела, как это происходило. Случайно, возвращаясь из аптеки, я прошла мимо их дома. Окна квартиры на втором этаже были темными, но во дворе, у подъезда, стояла машина. Багажник был открыт. Отец Майи, ссутулившись, быстро, нервно закидывал внутрь сумки. Не чемоданы на колесиках, с которыми едут в отпуск или в новую жизнь. А разномастные сумки, пакеты, узлы — всё, что успели схватить. Мать держала Майю за руку так крепко, словно боялась, что её вырвет ветром. Девочка не плакала. Она смотрела на темные окна своей комнаты, где, наверное, остались книги, игрушки, постеры на стенах. Вся её маленькая вселенная, которую пришлось бросить, потому что она стала уликой.

Они уехали в ночь. Тихо. Без прощаний. Так уезжают преступники или беженцы. Но они не совершили преступления. И в нашем городе не было войны. Война была объявлена только им.

Я сидела на кухне, глядя на остывающий кофе, и пыталась осмыслить финал этой драмы. Римская формула, о которой я читала в исторических трудах, замкнулась. Слово было сказано. Ярлык наклеен. Насмешка прозвучала. Отчуждение создало вакуум. Давление сломало защиту. И вот теперь — Исчезновение. В Древнем Риме это называлось *exilium* — изгнание. Гражданина, объявленного врагом общества, лишали права на огонь и воду. Ему не рубили голову на площади. Ему просто создавали условия, несовместимые с жизнью в полисе. И он уходил сам, растворяясь в варварских землях.

Сегодняшняя система работает тоньше, но принцип тот же. Не нужны расстрельные команды. Не нужны лагеря. Достаточно сделать воздух вокруг человека непригодным для дыхания. Я открыла папку с документами, которые собирала последние месяцы. Мне нужно было найти подтверждение своим догадкам. Неужели школьный психолог и закрытый клуб могли стать причиной такого панического бегства?

Ответ нашелся в свидетельстве человека, прошедшего через этот ад. Я читала стенограмму интервью из источника «Узники совести». История была до боли похожа на нашу, только имена другие. Мужчина рассказывал, как они с женой приняли решение бежать. *«Две последние капли... В Следственном комитете моей супруге намекнули... что её хотят перевести в обвиняемые. И, возможно, арестуют»*. Это был первый рычаг. Угроза свободе матери. Но был и второй. Тот самый, который заставил их бросить всё и бежать с одним чемоданом. *«В это же время в школе дочери зачем-то назначили разговор с психологом и социальным педагогом. Мы посоветовались с друзьями и узнали, что это такой первый шаг для изъятия ребёнка из семьи»*.

Я перечитала эти строки дважды. «Первый шаг для изъятия». Вот чего они испугались. Не тюрьмы. Не разорения. Они испугались, что у них отберут дочь. В России существует негласный, но отработанный алгоритм: две беседы с социальным педагогом и психологом. Если специалисты пишут заключение, что нахождение в семье угрожает психологическому здоровью ребенка (а мы помним про «тревожный профиль» и «зомбирование»), опека получает карт-бланш. *«Ну естественно, если в семье, по мнению властей, два экстремиста... то ребёнок находится в опасности»*.

Родители Майи поняли сигнал. Визит к школьному психологу на прошлой неделе был не заботой. Это была черная метка. Им дали понять: у вас есть выбор. Либо вы исчезаете сами, либо мы уничтожим вашу семью, размолв её жерновами ювенальной юстиции. И они выбрали исчезновение. *«Мы бросили наш дом, машину. Всё, что в доме. И с одним чемоданом приехали искать помощь в другую страну».*

Я представила квартиру Майи сейчас. Пустую, тихую. На столе, наверное, осталась недопитая чашка чая. В шкафу — одежда, которая не влезла в сумку. На полке — книги, которые теперь считаются экстремистской литературой. Это была Помпея, засыпанная пеплом ненависти. Жизнь оборвалась на полуслове.

В родительском чате царило настроение, которое можно охарактеризовать как «сдержанное ликование». Никто не писал прямо: «Ура, мы их выжили». Люди у нас культурные. Они писали иначе. *«Слышали новость? Проблема решилась сама собой».* *«Ну и слава богу. Баба с возу — кобыле легче».* *«Надеюсь, теперь в классе будет спокойная атмосфера. А то дети нервничали».* *«Жалко девочку, конечно, но родителям надо было головой думать, куда они ребенка втягивают».*

Они чувствовали себя победителями. Они «защитили» пространство. Они восстановили норму. Им и в голову не приходило, что они только что стали соучастниками этнической чистки. Да, термин «этническая» здесь не совсем точен, но суть та же: группа людей объединилась, чтобы выдавить «чужака» со своей территории. Это была «санитарная» операция. Класс очистился. Школа очистилась. Район очистился. Можно снова жить спокойно. Можно снова быть добрыми, милыми людьми, которые любят котиков и пекут пироги по выходным. Грязь убрали.

Я смотрела на эти сообщения и чувствовала физическую тошноту. Самое страшное в исчезновении Майи было не то, что она уехала. А то, что мир вокруг не дрогнул. Солнце светило так же ярко. Трамваи ходили по расписанию. В школьной столовой пахло булочками с корицей. Система «выдавливания» работает идеально именно потому, что она бесшумна. Нет трупов на улицах. Нет разбитых витрин. Внешне всё выглядит благопристойно. Люди просто «переехали». Это и есть высший пилотаж репрессивной машины: сделать насилие невидимым. Превратить трагедию изгнания в бытовой эпизод.

Я нашла статистику вынужденной миграции. Цифры были сухими, но за каждой стояла такая же ночь, такой же багажник, такой же страх. Тысячи семей. Свидетели Иеговы, евангелисты, последователи восточных практик, просто несогласные. Они бегут не от голода. Они бегут от ярлыка. Они становятся «невидимыми беженцами». Мир знает о беженцах из Сирии. Там бомбы. Там всё понятно. Но как объяснить миру, что ты бежишь из благополучного города, где работают кафе и театры только потому, что твоего бога называли «неправильным» в методичке Минюста?

В источнике информации я нашла фразу, которая объясняла их состояние: *«У нас надежда была... что в России здоровый смысл всё-таки возобладает... Но этого не произошло. Ситуация усугублялась с каждым днём, часом»*. Это крах надежды. Родители Майи до последнего верили, что это ошибка. Что можно объяснить, доказать, договориться. Они верили в закон. Но закон оказался не щитом, а мечом в руках тех, кто решил их уничтожить.

Я прошла мимо того места, где был их клуб. Вывеску уже сняли. На стекле висело объявление: «Аренда». Внутри было пусто. Голые стены. Ни следа от ковриков, благовоний, смеха. Пространство мгновенно затянуло рану. Через неделю здесь откроют магазин разливного пива или пункт выдачи заказов. И никто даже не вспомнит, что здесь были люди, которые хотели сделать мир немного здоровее. Память стирается быстрее, чем мел с доски.

В школе я заметила, как изменилась Катя. Она стала спокойнее. Напряжение, которое висело над ней последние недели (общаться или не общаться? как смотреть? что говорить?), исчезло. Проблема выбора отпала. Объект выбора исчез.

— Мам, а ты знаешь, что Ленка сказала? Что они в секту уехали, в лес жить,
— сказала она за ужином, накладывая салат.

— Катя, это неправда. Они уехали, потому что им здесь не дали жить.

— Ну, не знаю. Говорят, у них долги были. И вообще, странные они. Хорошо, что уехали. «Хорошо, что уехали». Моя дочь, добрая, умная девочка, произнесла приговор. Она усвоила урок. Урок назывался: «Нет человека — нет проблемы». Система не просто убрала Майю. Она переформатировала сознание тех, кто остался. Она научила их, что исключение — это нормальный способ

решения конфликтов. Что если кто-то тебе не нравится или кажется странным, его нужно не понять, а удалить. Как файл в корзину.

Я думала о том, что сейчас чувствует Майя. Где она? Может быть, они едут в машине где-то по трассе, глядя на мелькающие километровые столбы. Может быть, они уже пересекли границу и сидят в центре для беженцев, пытаясь на ломаном английском объяснить офицеру, почему йога в России стала преступлением. Для неё это травма на всю жизнь. Она потеряла дом. Друзей (пусть и предавших её). Школу. Язык. Она стала изгоем в квадрате. Сначала здесь, теперь там — как чужак, мигрант.

Но для нашего города это событие прошло незамеченным. Никакого общественного резонанса. Газеты не написали: «Семья предпринимателей вынуждена бежать из-за травли». Телевидение не сняло сюжет: «Кто выгнал ребенка из школы?». Наоборот. Тишина была плотной, как вата. И эта тишина была страшнее всего. Она означала согласие. Общественный договор подписан: мы отдаем вам «неправильных», а вы даете нам спокойствие.

Я вспомнила исторический термин «философский пароход». 1922 год. Большевики выслали из страны цвет нации. Бердяев, Ильин, Франк. Тогда это делалось официально. Списки утверждал Ленин. Сейчас списки утверждает невидимый комитет «нормальности». И пароходов нет. Есть лоукостеры, ночные поезда, попутные машины. Интеллектуальный и духовный ресурс страны утекает через эти дыры. Люди, которые могли бы работать, платить налоги, растить детей, создавать что-то новое — уезжают. Остаются те, кто умеет маршировать. И те, кто умеет молчать.

Я посмотрела на себя в зеркало. Я осталась. Я — часть молчаливого большинства. Я не кидала камни. Я не писала доносы. Но я и не встала в дверях, когда они уходили. Я просто наблюдала. Писала свои заметки. Собирала факты. Моя пассивность была тем самым фундаментом, на котором стояла стена отчуждения.

Равнодушие — это почва для преступления. Мы удобрили эту почву своим страхом и своей ленью. И теперь на ней вырос идеальный порядок.

Вечером в чате появилось сообщение от классного руководителя: *«Уважаемые родители! В связи с выбытием ученицы освободилось место. К*

нам переводится мальчик из параллельного класса. Прошу любить и жаловать». Свято место пусто не бывает. Система мгновенно заполнила пробел. Майю заменили. Как перегоревшую лампочку. Как сломанную деталь. Никакой трагедии. Просто ротация кадров.

Я вышла на балкон. Город сиял огнями. Красивый, современный город. Где-то там, в лабиринте улиц, работают другие «сектоведы», пишут другие доносы, готовят другие списки. Майя была не первой и не последней. Конвейер работает круглосуточно. Пока мы спали, пока мы ели, пока мы смотрели сериалы, кто-то паковал чемоданы. Кто-то прощался с домом навсегда.

Я вдруг поняла, что исчезновение — это не конец истории. Это начало новой фазы. Фазы стерильности. Когда из общества удаляют всех «иных», оно не становится здоровым. Оно становится мертвым. Разнообразие — это жизнь. Единообразие — это энтропия. Мы убиваем свой иммунитет, думая, что боремся с вирусом.

На столе лежал листок, который Катя принесла из школы. Список литературы на лето. Обычный список. Пушкин, Гоголь, Толстой. Но теперь я смотрела на него иначе. Я думала: а кто из этих авторов прошел бы проверку современного экспертного совета? Толстой? Отлучен от церкви, экстремист. Пушкин? Вольнодумец. Достоевский? Каторжанин, государственный преступник. Все они были «неудобными». Все они были бы сейчас в группе риска. Мы учим детей любить классиков, которых сегодня затравили бы в школьном чате.

Я взяла ручку и на обратной стороне листка написала одно слово. *Пустота*. Это было единственное слово, которое точно описывало состояние нашего мира после ухода Майи. Мы остались одни. С нашими «правильными» мыслями, с нашими «безопасными» детьми, с нашими страхами. Мы победили. Но почему эта победа так похожа на поражение?

В углу комнаты, за шкафом, я нашла маленькую вещь. Видимо, Катя принесла её давно и забыла. Это был тот самый брелок. Авокадо с улыбающейся рожицей. Майя подарила его Кате в начале года, когда они еще общались. До того, как прозвучало Слово. Я держала в руках этот кусочек дешевого пластика. Он был теплым. Это было всё, что осталось от человека. Маленький, смешной

сувенир. Улика существования другой жизни, которую мы коллективно отменили.

Я сжала брелок в кулаке. Завтра я не отдам его Кате. Я спрячу его. Как напоминание. Как музейный экспонат исчезнувшей цивилизации. Цивилизации, где можно было быть другим и при этом оставаться своим. Эта цивилизация погибла не от метеорита. Она погибла от нашей «шутки».

За окном завыл ветер. Начиналась гроза. Где-то там, в темноте, маленькая девочка смотрела на дорогу, уходящую в неизвестность. А мы оставались здесь. В тепле. В безопасности. В тюрьме, которую построили сами для себя, выгнав на улицу тех, у кого были ключи от свободы.

Глава 13: Эхо

Прошло три месяца. Школьный двор засыпало желтыми листьями, потом первым снегом, а теперь он превратился в серую, утоптанную тысячами детских ног кашу. Время — лучший ластик. Оно стирает лица, имена и события с путающей эффективностью. В классе Кати появилась новая парта, за ней сидит новый мальчик, Денис. Он обычный. Он ест котлеты в столовой, смеется над правильными шутками и носит правильные кроссовки. Майю не вспоминают. Её имя исчезло из разговоров, из чатов, из памяти, словно файл, удаленный без возможности восстановления. Жизнь вернулась в колею. Родители снова обсуждают подарки учителям к Новому году, экскурсии и эпидемию гриппа. Всё нормально. Но для меня нормальность умерла.

Я хожу по улицам, смотрю на витрины, на людей в метро, и вижу то, чего не видела раньше. Я вижу невидимую архитектуру ненависти. Раньше мне казалось, что история с Майей — это несчастный случай, сбой в системе, локальная вспышка глупости и жестокости. Теперь я понимаю: это не сбой. Это функция. Механизм, который перемолол семью йога и выплюнул их за пределы города, никуда не делся. Он просто перешел в режим ожидания. Он гудит тихо, на низких частотах, как трансформаторная будка, мимо которой мы ходим каждый день, не замечая опасности.

Я сижу на кухне, той самой, где всё начиналось с невинного разговора, и перебираю свои записи. За эти месяцы я превратилась в архивариуса собственной тревоги. Я пыталась найти ответ на вопрос: «Почему?». Почему взрослые, образованные люди превратились в стаю? Почему государство, призванное защищать, стало инструментом травли? Ответы, которые я нашла, страшнее, чем само молчание.

Я наткнулась на статью с заголовком, который раньше показался бы мне конспирологическим бредом: «Четвёртый рейх: кто продолжает дело Гитлера». Но теперь, после того как я видела глаза отца Майи, когда он грузил вещи в машину, я читала этот текст иначе. Там говорилось о цикличности истории. О том, что нацизм — это не форма немецкой каски и не усики фюрера. Это вирус сознания. И этот вирус мутирует. В 30-е годы в Германии существовал «Апологетический центр». Организация, которая боролась с «сектами». Именно они научили нацистов, что власть держится на страхе и на наличии внутреннего врага. Они объяснили, что евреи — это не просто народ, а «деструктивный культ». Что Свидетели Иеговы — это агенты влияния. Антикультизм стал повивальной бабкой нацизма. И сегодня я вижу те же самые родимые пятна на теле нашего общества. Нетерпимость к иному. Монополия на истину. Использование психиатрии как дубины. Мы не победили дракона. Мы просто позволили ему сменить чешую.

Я вспоминаю термин «Римская формула», с которого началось мое погружение в эту бездну. Слово → Ярлык → Насмешка → Отчуждение → Давление → Исчезновение. Я думала, это метафора. Красивая историческая параллель. Но теперь я знаю: это инструкция по эксплуатации общества. В Древнем Риме обвинение в «нечестивости» было политическим инструментом. Если нужно было убрать сенатора, его обвиняли в том, что он неправильно чтит богов. Сегодня, в XXI веке, мы используем те же методы. Только вместо «нечестивости» у нас «экстремизм» и «сектантство». Майя прошла все этапы. Идеально, как по нотам. И самое страшное — никто не заметил подмены. Все думали, что это борьба за безопасность детей.

Безопасность. Это слово стало главным наркотиком. Ради безопасности мы готовы на всё. Я читала о трагедии в Уэйко. 1993 год. Техас. Тогда тоже всё начиналось с заботы о детях. СМИ, накачанные информацией от «экспертов»-

антикультистов, кричали, что в общине «Ветвь Давидова» мучают детей. Итог этой «заботы» — 82 трупа. Из них 25 детей. Они сгорели заживо или задохнулись от газа, который пустили «спасатели». Я смотрела документальный фильм, где разбиралась эта трагедия. Там говорилось о роли «апостатов» — бывших членов, которые, желая отомстить или заработать, рассказывали небылицы. И о роли «экспертов», которые убедили ФБР не вести переговоры, а штурмовать. «С ними нельзя договариваться, они зомби». Эта фраза убила больше людей, чем чума. В нашем случае до штурма не дошло. Слава богу. Но логика была та же. В родительском чате писали: «С ними бесполезно говорить». Мы дегуманизировали их так же, как агенты ФБР дегуманизировали давидианцев. Мы просто не успели поднести спичку. Они уехали раньше.

Но эхо этой истории звучит не только в прошлом. Оно звучит в будущем. Я читала новости о предотвращенном теракте на концерте Тейлор Свифт в Вене. Совсем недавно. Молодые парни, почти ровесники моей дочери, хотели устроить бойню. Откуда в них эта ненависть? Аналитики говорят о радикализации через интернет. О том, что им внушили: «Те, кто слушает эту музыку, кто живет так — они враги. Они неверные». Но разве риторика наших «борцов с сектами» отличается? Разве Дворкин не говорит, что «каждая тоталитарная секта стремится к власти над миром»? Разве он не рисует образ абсолютного зла, которое нужно уничтожить? Когда вы называете группу людей «раковой опухолью» (а это любимая метафора антикультистов), вы даете разрешение хирургу взять скальпель. А хирургом может стать кто угодно.

Я смотрю на Катю. Она сидит в наушниках, делает уроки. Она в безопасности? Физически — да. Но ментально она находится в зоне поражения. Информационное поле, в котором она живет, отравлено.

Вчера я видела сюжет по телевизору. Очередной рейд. Люди в масках врываются в квартиру, кладут лицом в пол пожилых женщин. Диктор бодрым голосом сообщает: «Пресечена деятельность ячейки...» Я смотрела на эти кадры и видела не преступников. Я видела матерей и бабушек. Я вспоминала статью. Там автор, потомок жертв Холокоста, пишет о том, что нацизм начинается не с лагерей. Он начинается с языка. В Руанде тутси называли «тараканами». В нацистской Германии евреев называли «крысами». У нас верующих называют «сектантами». Слова разные. Суть одна. Расчеловечивание. Когда вы лишаете

человека человеческого облика, вы снимаете моральный запрет на насилие. Таракана можно раздавить. Крысу можно отравить. Сектанта можно посадить или лишить родительских прав.

Кстати, о правах. Я узнала страшную статистику. В 2017 году в России было вынесено 40 000 решений о лишении или ограничении родительских прав. Сколько из них было связано с реальной угрозой жизни ребенка, а сколько — с «неправильным» мировоззрением родителей? История Елены Брессем, у которой отобрали сына с помощью «экспертизы» РАЦИРС, — это не исключение. Это прецедент. Это технология. Если вы не можете посадить человека (нет состава преступления), вы бьете по самому больному. По детям. Вы объявляете воспитание в вере «психологическим насилием». И всё. Ребенок в приюте. Родители сломлены.

Я думаю о том, что происходит сейчас с Майей. Они уехали. Они стали частью огромной волны «невидимых беженцев». Людей, которые бегут не от войны, а от «заботы» государства. В Европе, куда они, возможно, направились, их ждет сюрприз. Там тоже есть FECRIS. Там тоже есть свои дворкины. Эта сеть глобальна. Она как спрут, опутала весь мир. Во Франции агентство MIVILUDES финансируется государством и занимается тем же самым — охотой на ведьм.

Я поняла, что география не спасает. Спасает только осознанность. Но где её взять, если из каждого утюга несется пропаганда? Если школьный психолог, вместо того чтобы помогать, пишет доносы? Если священник в церкви призывает не к любви, а к «священной войне» с инакомыслием?

Мне страшно. Не за себя. За нас всех. Мы живем в обществе с иммунодефицитом совести. Мы потеряли способность различать добро и зло. Нам сказали: «Зло — это те, кто не с нами». И мы поверили. Мы позволили кучке «экспертов»-самозванцев решать, кому жить в нашем городе, а кому бежать в ночи.

Вчера в чате снова было оживление. Мама одного из учеников написала: *«А вы знаете, что семья новенького, Дениса, приехала из региона, где много мигрантов? Надо бы присмотреться. Мало ли какие у них привычки»*. Я смотрела на это сообщение, и у меня холодели руки. Механизм не остановился. Он просто перезарядился. Майя была «сектанкой». Денис может стать

«мигрантом» или «чужаком». Ярлык не важен. Важен принцип. Системе нужна жертва. Ей нужно кого-то исключать, чтобы чувствовать свою сплоченность. «Римская формула» вечна, пока мы позволяем ей работать.

Я взяла телефон. Палец завис над клавиатурой. Что я могу сделать? Написать гневную отповедь? Меня удалят из чата. Пойти к директору? Она покажет мне инструкции по «профилактике экстремизма». Я чувствую бессилие. То самое бессилие, которое чувствовали немцы в 30-е годы, видя, как их соседей уводят. «А что мы могли сделать? Время было такое». Время не бывает «такое». Время создаем мы.

Но есть одна вещь, которая не дает мне окончательно провалиться в отчаяние. Это память. «Кто не помнит своего прошлого, обречён пережить его вновь». Я помню. Я запомнила каждый шаг этого процесса. Я сохранила все скриншоты, все листовки, все ссылки. Я написала эту книгу. Не для того, чтобы кого-то наказать. У меня нет такой власти. А для того, чтобы засвидетельствовать. Чтобы, когда через десять лет кто-то спросит: «Как это стало возможным?», я могла положить перед ним эти страницы и сказать: «Вот так. Шаг за шагом. С шутки. С молчания. С согласия».

Я смотрю на брелок-авокадо, который я спрятала в шкатулку. Это мой маленький памятник неизвестному солдату проигранной войны за человечность. Майя проиграла. Её родители проиграли. Но война не закончена. Пока я вижу этот механизм, я могу ему сопротивляться. Хотя бы внутри себя. Я могу не смеяться над шуткой, которая унижает. Я могу не ставить лайк под постом ненависти. Я могу сказать дочери: «Думай своей головой. Не верь ярлыкам».

Это мало. Это ничтожно мало против государственной машины, против медиа-империй, против международных сетей ненависти. Но это единственное, что у меня есть. Индивидуальное осознание против коллективного безумия. Шансов почти нет. Но «почти» — это всё-таки не ноль.

Вечером Катя подошла ко мне.

— Мам, — сказала она неуверенно. — А Дениса сегодня в раздевалке толкнули. Сказали: «Понаехали тут». Она посмотрела на меня. В её глазах я увидела тот самый вопрос, который ждала все эти месяцы. — Это ведь

неправильно, да? Так же, как с Майей было? Я замерла. Сердце пропустило удар. Она заметила. Она провела параллель. Прививка сработала. Пусть поздно, пусть ценой чужой судьбы, но она сработала.

— Да, Катя, — сказала я тихо. — Это то же самое. Это эхо.

— И что нам делать? — спросила она. Я посмотрела в окно. Темнота за стеклом казалась бесконечной. Где-то там, в этой темноте, работают фабрики троллей, пишутся новые методички, готовятся новые рейды. Но здесь, на кухне, горел свет.

— Для начала — не молчать, — сказала я. — Завтра ты подойдешь к Денису и просто поздороваяешься. Громко. Чтобы все слышали.

— А если они будут смеяться?

— Пусть смеются. Смех палачей страшен только тогда, когда жертва одна. Когда вас двое — смех теряет силу.

Я не знаю, сделает ли она это. Я не знаю, спасет ли это Дениса. Я не знаю, остановит ли это новый виток «Римской формулы». Но я знаю одно: сегодня я впервые за долгое время усну без чувства стыда. Потому что эхо прошлого наконец-то встретило препятствие. И, может быть, если таких препятствий будет много, звук затихнет. Не сразу. Не завтра. Но когда-нибудь.

На экране телефона всплывает уведомление. Очередная новость. «В Госдуму внесен законопроект о борьбе с...» Я не дочитываю. Я знаю, что там будет. Очередной враг. Очередная охота. Я откладываю телефон. Я иду в комнату к дочери. Мы будем говорить. Долго. Обо всем. Потому что слово, которое создает ад, можно победить только словом, которое создает смысл. И это единственная битва, которую мы не имеем права проиграть.